

Annotation
«Не гневайся, любезный читатель, если тот, что взялся рассказать тебе историю о принцессе Брамбилье именно так, как она была задумана на задорных рисунках мастера Калло, без церемонии потребует, чтобы ты, пока не дочитаешь сказку до последнего слова, добровольно отдался во власть всему чудесному — более того, хоть чуточку в эти чудеса поверил. [...] Должен тебе сказать, благосклонный читатель, что мне — может быть, ты это знаешь по собственному опыту — уже не раз удавалось уловить и облечь в чеканную форму сказочные образы — в то самое мгновение, когда эти призрачные видения разгоряченного мозга готовы были расплыться и исчезнуть, так что каждый, кто способен видеть подобные образы, действительно узревал их в жизни и потому верил в их существование.»

Э.Т.А. Гофман

* * *

Повесть «Принцесса Брамбильла», созданная Гофманом на исходе творческого пути, - одно из лучших его произведений. В нем царствует игровая стихия римского карнавала, переворачивающая с ног на голову привычные отношения между людьми. За прихотливой чередой чудесных событий и фантастических персонажей незримо - а порой и явно - присутствует Автор, артистично и самозабвенно "играющий в литературу" и создающий виртуозные "отражения" Жизни и Искусства. Так как автор считает, что ирония должна быть основой отношения человека к жизни, ирония является средством разрешения всех конфликтов и противоречий, средством преодоления того «хронического дуализма», от которого страдает главный герой этой новеллы — актер Джильо Фава. При этом, все эти конфликты и противоречия, в том числе и «хронический дуализм» Джильо, подаются в сказочно-комическом плане.

Эрнст Теодор Амадей Гофман.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

О короле Офиохе и королеве Лирис

Глава четвертая

Глава пятая

Глава шестая

Глава седьмая

Глава восьмая

Комментарии

notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Эрнст Теодор Амадей Гофман.

Принцесса Брамбилья

Каприччио в духе Калло

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сказка «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (изд. Ф. Дюммлер, Берлин, 1819) является всего лишь вольным, непринужденным изложением некоей шутливой мысли. Как же поразился автор, когда наткнулся на рецензию, в которой эта непритязательная шутка, легко набросанная для мимолетного увеселения, была с серьезным, важным видом разобрана по пунктам и тщательно указаны все источники, из которых автор, видимо, ее почерпнул. Последнее было ему тем приятней, что явилось для него поводом самому разыскать эти источники, чтобы обогатить свои знания. Ныне, во избежание всяких недоразумений, автор заранее уведомляет, что «Принцесса Брамбilla», как и «Крошка Цахес», — книга совершенно непригодная для людей, которые все принимают всерьез и торжественно; однако он покорнейше просит благосклонного читателя, буде тот обнаружит искреннее желание и готовность отбросить на несколько часов серьезность, отдаваться задорной, причудливой игре не в меру, быть может, озорливой колдовской силы, все же не упуская из виду самой основы всего произведения — фантастически гrotескных листов Калло, подумав также и о том, чего музыкант требует от каприччио.

Автор осмеливается привести высказывание Карло Гоцци (в предисловии к «Re de geni»)

[1]

, в котором говорится, что целого арсенала нелепостей и чертовщины еще недостаточно, чтобы вдохнуть душу в сказку, если в ней не заложен глубокий замысел, основанный на каком-нибудь философском взгляде на жизнь. Утверждая это, автор, конечно, имеет в виду скорее желаемое, а не достигнутое им.

Берлин. Сентябрь 1820 г.

Глава первая

Волшебное действие роскошного платья на молоденькую модистку. — Определение актера, играющего первых любовников. — О сморфии молоденьких итальянок. — Как почтенного вида старичок занимался науками, сидя в тюльпане, а знатные дамы меж ушей мулов вязали филе. — Шарлатан Челионати и зуб ассирийского принца. — Небесно-голубое и розовое. — Панталоне и бутыль с удивительным содержанием.

Спустились сумерки, в монастырях зазвонили к вечерне; тут прелестная молоденькая девушка по имени Джачинта Соарди отбросила в сторону роскошное женское платье из тяжелого красного атласа, над отделкой которого усердно работала, и хмуро поглядела из чердачного окошка на узкую, безлюдную уличку.

Тем временем старая Беатриче бережно собрала множество всякого рода и цвета маскарадных костюмов, валявшихся в комнатке по столам и стульям, и все их развесила в ряд. Потом, подбоченившись, встала перед раскрытым шкафом и, весело ухмыляясь, проговорила:

— Ну, Джачинта, славно мы на этот раз поработали! Сдается мне, я вижу перед собой чуть не половину веселящегося Корсо! И то ведь никогда еще маэстро Бескапи не давал нам таких богатых заказов. Он-то знает, что наш прекрасный Рим и нынешний год вовсю блеснет весельем и роскошью. Посмотришь, Джачинта, какое ликование поднимется завтра, в первый день карнавала. И завтра... завтра же маэстро Бескапи насыплет нам в подол целую пригоршню дукатов... посмотришь, Джачинта. Но что с тобой, дитятко, ты повесила голову, горюешь... хмуришься. А ведь завтра карнавал!

Джачинта вернулась на свое рабочее место и, уронив голову на руку, уставилась вниз, не слушая слов старухи. Но та без умолку продолжала болтать о предстоящем веселье карнавала, и Джачинта не выдержала:

— Замолчите же, старая; бросьте толковать о том времени, которое другим, может быть, принесет веселье, а мне ничего не сулит, кроме печали и скуки. Какой прок трудиться день и ночь? Много ли нам радости от дукатов маэстро Бескапи? Разве не живем мы в самой горькой бедности? Разве не приходится нам растягивать заработок этих дней на целый год полуголодного существования? Где уж нам думать о развлечениях?

— Помеха ли наша бедность карнавалу? — откликнулась старая Беатриче. — Помнишь, как мы прошлый год носились по улицам с утра до поздней ночи? Я нарядилась dottore...

[2]

У меня был такой важный, ученый вид. Я вела тебя под руку, и ты была прелесть до чего мила в костюме садовницы. Красивейшие маски бегали за тобой, обольщая сладкими как сахар речами. Скажи, разве нам не было весело? Что же нам мешает повеселиться на славу и в нынешнем году? Нужно только хорошенъко отчистить моего доктора от скверного конфетти, которым его забросали, да и твоя садовница тоже еще висит здесь. Несколько новых ленточек и свежих цветочков — много ли вам надо, чтобы быть хорошенъкой и нарядной?

— Ну что вы говорите, старая! — вскричала Джачинта. — Чтоб я опять показалась в этих жалких обносках? Нет! Красивое испанское платье, тесно облегающее фигуру и ниспадающее богатыми, пышными складками, широкие рукава с прорезями, сквозь которые виднеются дорогие кружева в буфах, шляпка с задорно развевающимися перьями, пояс, расшитый драгоценными каменьями, и ожерелье из сверкающих алмазов — вот в каком наряде хотелось бы Джачинте появиться на Корсо и представать перед палаццо Русполи! Как теснились бы вокруг нее кавалеры... «Кто эта дама? Вероятно, графиня... принцесса...» И даже Пульчинелла, преисполнившись почтения, оставил бы свои дурацкие проделки.

— Слушаю я вас, — ответила старуха, — и удивляюсь. Скажите, с коих пор вселился в вас проклятый бес высокомерия? Ну что ж, коли вы так высоко о себе возомнили, что собираетесь подражать графиням и принцессам, то не угодно ли вам обзавестись возлюбленным, который ради ваших прекрасных глаз не постесняется запустить руку в фортунатов мешок, и прогнать синьора Джильо, этого голодранца, который, чуть у него в кармане зазвенит несколько дукатов, живо промотает их на сласти и душистые помады, а мне все никак не соберется отдать два паоли за стирку кружевного воротника.

Так говоря, Беатриче заправила лампу и зажгла ее. Но когда яркий свет упал на лицо Джачинты, старуха увидела, что у бедняжки из глаз текут горькие слезы.

— Джачинта, голубушка! — воскликнула старуха. — Ради всех святых, скажи, что с тобой. Право, дитятко, я ничего

дурного не хотела сказать. Успокойся, не корпи так над работой; платье и без того будет готово к назначенному сроку.

— Ах, — ответила Джачинта, не поднимая глаз от работы, за которую снова принялась, — ах, именно оно, это злополучное платье, кажется, и внушило мне всякие глупые мысли. Скажите, старая, случалось ли вам хоть раз в жизни видеть платье, которое могло бы сравниться с этим по красоте и роскоши? Поистине маэстро Бескапи превзошел самого себя; особое вдохновение напало на него, когда он кроил этот дивный атлас. А роскошные кружева, блестящий галун, драгоценные камни, которые он нам доверил для отделки! Все на свете отдала б я, чтобы узнать, какая счастливица нарядится в это божественное платье.

— Нам-то что до этого? — перебила ее старуха. — Наше дело работать и получать денежки. Но ты права, маэстро Бескапи вел себя так таинственно, так странно... Верно и то, что дама, которая наденет это платье, должна быть по крайней мере принцессой. И хотя я не из любопытных, все же мне приятно было б узнать от маэстро Бескапи ее имя, и завтра я стану приставать к нему до тех пор, пока он не откроет мне тайну.

— Ах нет, нет, — воскликнула Джачинта, — у меня нет никакого желания узнать ее имя. Я лучше буду думать, что ни одна смертная не наденет этого платья, и я тружусь над нарядом какой-нибудь таинственной феи. Мне и то чудится, будто из этих сверкающих камней смотрят на меня с улыбкой крошечные духи и шепчут мне: «Шей живей, шей живей для нашей королевы, мы тебе поможем, мы тебе поможем!» И когда я, как сейчас вот, переплетаю кружева с галуном, мне мерещится, что крошечные эльфы прыгают вперемежку с маленькими гномами в золотых латах и что... Ой! — вскрикнула Джачинта. Пришивая брыжи, она так сильно уколола палец, что кровь из него брызнула фонтаном.

— Господи помилуй! — охнула старуха. — Такое дорогое платье! — и, взяв лампу, посветила над ним, отчего на него крупными каплями пролилось масло.

— Господи помилуй! Такое дорогое платье! — в свою очередь, закричала Джачинта, полумертвав от испуга.

Но хотя и кровь и масло действительно попали на платье, ни старуха, ни Джачинта, сколько ни глядели, не могли обнаружить на нем ни пятнышка. И Джачинта живо принялась его дошивать, пока с радостным криком «готово! готово!» не вскочила, подняв его высоко в воздух.

— Ах, как красиво! — поразилась старуха. — До чего красиво, до чего великолепно! Право, Джачинта, никогда еще твои ручки такого не делывали. И знаешь, мне кажется, оно как по тебе скроено, будто маэстро Бескапи с тебя мерку снимал.

— Ну да! — вся зардевшись, промолвила Джачинта. — Ты бредишь, старая. Разве я так высока и стройна, как та дама, для которой это платье шилось? Убери его на место и бережно спрячь до утра. Дай только бог, чтобы при дневном свете на нем не оказалось какого-нибудь гадкого пятна. Что мы, бедняжки, стали бы тогда делать? На, возьми его.

Старуха медлила.

— Конечно, — глядя на платье, продолжала Джачинта, — работая над ним, я иногда думала, что это платье придется мне впору. В талии я достаточно тонка, что касается длины...

— Джачинта, — прервала ее старуха, и глаза ее лукаво блеснули. — Джачинта, ты угадываешь мои мысли, а я твои. Пускай кто угодно наденет это платье — принцесса, королева или фея, все равно, — первой должна в него нарядиться моя Джачинта.

— Никогда! — заявила девушка.

Однако старуха, взяв у нее из рук платье, бережно повесила его на спинку стула и принялась расплетать косы девушки, потом искусно уложила их в изящную прическу и, вынув из шкафа маленькую шляпку, отделанную цветами и перьями, которую маэстро Бескапи заказал ей к этому платью, прикрепила ее к темно-каштановым локонам Джачинты.

— Дитя, уж одна эта шляпка дивно как идет тебе! — воскликнула старая Беатриче. — А теперь снимай кофточку! — добавила она и стала раздевать Джачинту, которая в своей милой стыдливости больше не смела ей противиться.

— Гм! — бормотала старуха, любуясь девушкой. — Какой нежный изгиб затылка, какая лилейная грудь, до чего хороши эти алебастровые руки! Поспорят красотой с руками самой Медицейской, да и Джульо Романо не рисовал

более прекрасных! Хотелось бы мне знать, какая принцесса не позавидует в этом моему милому дитятку!

И когда она накинула на девушку роскошное одеяние, казалось, ей помогали незримые духи. Все ладилось, каждая застежка пришла к месту, каждая складка ложилась сама собой; невозможно было поверить, что оношло не на Джачинту.

— О, святые угодники! — воскликнула старуха, когда Джачинта встала перед ней в этом блестящем наряде. — Право, ты вовсе не моя Джачинта. Ах... Ах, как вы прекрасны, всемилостивейшая принцесса! Но постой! В комнате должно быть светло, как можно светлее. — Старуха кинулась за освященными свечами, которые сберегла с самого праздника пресвятой девы Марии, и зажгла их. Джачинта стояла теперь, вся залитая лучезарным светом.

Пораненная ее изумительной красотой и еще больше изящной, благородной манерой, с какой она прохаживалась по комнате, старуха всплеснула руками и воскликнула:

— Ах, если бы кто-либо, если бы все дамы и кавалеры на Корсо сейчас увидели вас!

В эту минуту дверь внезапно распахнулась, Джачинта с криком бросилась к окошку. В комнату вошел молодой человек и остановился, в изумлении застыв, как статуя.

Пока он так стоит, безмолвный и недвижимый, ты можешь, любезный читатель, не торопясь его рассмотреть. Ты увидишь, что ему не больше двадцати четырех — двадцати пяти лет и что у него очень красивая, благородная внешность. Только его костюм покажется тебе несколько странным, ибо порознь каждая его часть безукоризненна по цвету и покрою, но в целом они не вяжутся между собой и режут глаз своей пестротой. Вдобавок, при всей опрятности одежды, в ней чувствуется бедность: по кружевному воротнику заметно, что на смену ему есть только еще один, а перья, которыми украшена надетая набекрень шляпа, не разваливаются только потому, что скреплены проволочкой и нитками. Ты, конечно, уже понял, мой благосклонный читатель, что этот столь странно одетый молодой человек не может быть никем иным, как довольно тщеславным актером, заслуги коего перед искусством невысоко ценятся, и ты прав. Коротко говоря, это тот самый Джильо Фава, который задолжал старой Беатриче два паоля за стирку кружевного воротника.

— Ах, что вижу я! — заговорил наконец Джильо Фава таким выспренним тоном, словно стоял на сцене театра «Аргентина». — Иль это сон, который снова меня обманывает? Нет! Это она сама, божественная! Отважусь ли я обратиться к ней со смелыми словами любви? Принцесса, о принцесса!

— Не валяй дурака! — отозвалась Джачинта, быстро поворачиваясь, — и прибереги свои выкрутасы на завтрашний день.

— Да разве ж я не знаю, что это ты, моя прелестная Джачинта? — переведя дыхание, с принужденным смешком ответил Джильо. — Но скажи, что значит сие пышное одеяние? Право, никогда еще не казалась ты мне столь прекрасной; я был бы рад всегда тебя лицезреть в таком убранстве.

— Вот как? — вспыхнула от возмущения Джачинта. — Значит, этому атласному платью и шляпке с перьями обязана я твоей любовью? — С этими словами она быстро ускользнула в соседнюю комнату и, скинув блестящий наряд, вернулась одетая в свое обычное платьице.

За это время старуха потушила свечи и хорошенъко пробрала нескромного Джильо за то, что он испортил всю радость Джачинте, и к тому еще довольно неучтиво дал понять, насколько она прелестнее в этом богатом наряде. Джачинта, вернувшись, усердно вторила этому нагоняю, пока Джильо — весь смирение и раскаяние — не упросил их выслушать его, клянясь, что его изумление было вызвано необычайным стечением совсем особых обстоятельств.

— Позволь тебе рассказать, моя душа, моя сладостная любовь, какой сказочный сон привиделся мне прошлой ночью, когда я, до смерти устав от роли принца Таэра, которую я, как тебе и всему миру известно, божественно играю, бросился на свое ложе. Мне снилось, будто я все еще на сцене и ссорюсь с этим грязным скрягой импресарио, который упорно отказывал мне в нескольких дукатах аванса. Он осыпал меня целым градом глупейших упреков; тут я, защищаясь от них, хотел сделать красивый жест и нечаянно угодил рукой по его правой щеке, отчего послышался звук полновесной пощечины. Недолго думая импресарио кинулся на меня с большим ножом. Я попятился назад, и с головы у меня свалилась прелестная шапочка принца, которую ты сама, моя сладостная надежда, так мило убрала красивейшими перьями, когда-либо выщипанными у страуса. Полный ярости, этот варвар, этот изверг набросился на нее и искромсал ножом бедняжку так, что она в мучительных страданиях, вся скорчившись, со стоном испустила дух у моих ног. Я хотел, я должен был отомстить за несчастную.

Перебросив плащ через левую руку, я вытащил свой меч принца и бросился на безбожного убийцу. Однако он мигом ринулся в какой-то дом и с балкона выстрелил в меня из Труффальдина ружья. Но, о чудо! пламя выстрела повисло в воздухе, сверкнув тысячей алмазов. Мало-помалу дым рассеялся, и я увидел, что принял за огонь выстрела драгоценное украшение на дамской шляпке. О боги! О святые небеса! Сладостный женский голос произнес, нет, пропел, нет, дохнул на меня легким благоуханием любви: «О Джильо! О мой Джильо!..» — и я узрел перед собой существо столь божественного очарования и совершенной прелести, что палящее сирокко пламенной любви пробежало по всему моему толу и его жаркий ток застыл в лаву, изливающуюся из вулкана моего пылающего любовью сердца! «Я принцесса!» — сказала богиня, приближаясь ко мне.

— Как? — негодующе прервала Джачинта занесшегося в мечтах Джильо. — Ты смеешь грезить о другой? Смеешься одного взгляда возгореться любовью к какому-то глупому, пустому видению, вылетевшему из Труффальдина ружья?

И снова посыпались упреки и жалобы, брань и проклятия, и никакие уверения Джильо, будто принцесса его грезы была одета в точности как только что Джачинта, не помогли делу. Даже старая Беатриче, обычно вовсе не склонная заступаться за синьора голодранца, как она именовала Джильо, почувствовала к нему сострадание и не отступала от заупрямившейся Джачинты, пока та не простила своему милому его сна, с условием, что он никогда и словом о нем не обмолвится. Старуха поставила на стол доброе блюдо макарон, а Джильо, которому, вопреки его сну, импресарио все же выдал несколько дукатов аванса, вытащил из кармана плаща бумажный кулек с конфетами и флягу недурного вина.

— Я вижу, ты все-таки думаешь обо мне, мой добрый Джильо, — сказала Джачинта, кладя в ротик засахаренный фрукт. Ему было даже разрешено поцеловать пальчик, уколотый злой иголкой, и снова вернулись прежние блаженство и радость. Но там, где в дело вмешается черт, жди беды! Сам нечистый попутал Джильо после нескольких стаканчиков вина сказать такое:

— Вот но думал, моя душа, что ты способна так меня ревновать. Но ты права. Я красив, природа одарила меня всячими приятными талантами, а главное, я актер. Молодой актер, который, как я, божественно играет влюбленных принцев со всеми положенными охами и ахами, — это ходячий роман, интрига о двух ногах, любовная песнь с губами для поцелуев, руками для объятий, романтическое приключение, выскочившее из переплета в жизнь, которое долго еще стоит перед глазами красавицы после того, как она захлопнула книгу. Вот почему так непреодолимы чары, какими мы опутываем бедных женщин; они до безумия влюбляются во все, что в нас и на нас, — в нашу душу, глаза, в наши фальшивые драгоценности, перья и ленты. Тут не имеет значения ни ранг, ни сословие — прачка или принцесса — все равно! И вот говорю тебе, моя любимая, если меня не обманывают некие таинственные предчувствия и не шутит надо мной нечистая сила, то ко мне в самом деле воспылало любовью сердце прекраснейшей принцессы. Случилось ли это или скоро случится, но ты, моя светлая надежда, не посетуешь на меня, коль я воспользуюсь открывающимися передо мной золотыми россыпями и несколько тебя заброшу. Сама понимаешь, что какая-то скромная модистка...

Джачинта, слушавшая его с растущим вниманием, ближе и ближе подвигалась к Джильо, в чьих блестящих глазах отражалась сонная греза прошлой ночи, и вдруг, быстро вскочив, закатила счастливому избраннику прекрасной принцессы такую оплеуху, что у него перед глазами заплясали все огненные искры из Труффальдина ружья; сама ж она мигом скрылась в своей спаленке. На этот раз все просьбы и мольбы оказались тщетными.

— Отправляйтесь-ка подобру-поздорову домой, — сказала старая Беатриче. — На нее напала сморфия, значит, кончено дело. — И, взяв лампу, она посветила приунывшему Джильо, пока тот спускался по узкой лестнице.

Сморфия — удивительно прихотливое, несколько дерзкое настроение молоденьких итальянок, обладает особым свойством. По крайней мере знатоки единодушно утверждают, будто именно в нем заключено чудесное очарование и неотразимая прелесть, кои мешают негодующему узнику любви порвать свои сети, и он все сильнее в них запутывается; столь оскорбительно отставленный любовник, вместо того чтобы сказать вечное «addio»

[3]

, еще жарче вздыхает и молит, как говорится в известной народной песенке: «Vien qua, Dorina bella, non far la smorfiosella»

[4]

Тот, кто сейчас говорит с тобой об этом, любезный читатель, полагает, что такая любовь от немилости может расцвести только под благодатным небом юга, а что на мирной почве нашего севера такому прекрасному цветку не взрасти. Автор ни в коем случае не собирается — по крайней мере в том месте, где он живет, — отождествить эту милую сморфию с расположением духа, какое он часто замечал у тамошних молоденьких девушек, едва вышедших из детских лет. Если небеса одарили их приятными чертами лица, все равно они портят его самыми нелепым образом. Ничто на свете их не радует: всегда им то слишком тесно, то слишком просторно, нигде на нашей планете не находят они удобного местечка для своей крохотной особы. Скорее они стерпят боль от тесноты башмачка, чем веселое, тем более острое словцо, и ужасно как сердятся на то, что юноши и взрослые мужчины в черте их города все поголовно в них влюблены, хотя втайне эти красотки польщены таким поклонением, сколько на него не злобясь. Этого душевного настроения нежного пола никаким словом не определишь. Субстрат взвалмошности, свойственный ему, можно видеть, как в двояковогнутом зеркале, и у мальчиков в том возрасте, который грубые школьные учителя обозначают словом «шальные годы».

И все же беднягу Джильо никоим образом нельзя было осуждать за то, что он в странном возбуждении даже наяву грезил о принцессах и необычайных приключениях. Как раз в тот день, когда он, своей внешностью наполовину, а в душе полностью ощущив себя принцем Таэром, бродил по Корсо, там произошло многое диковинного.

Случилось, что у церкви Сан-Карло, в том самом месте, где Корсо пересекается улицей Кондотти, среди лавочонок колбасников и макаронщиков, раскинул свой помост известный всему Риму шарлатан, именовавшийся синьором Челионати. Он морочил толпу всевозможными нелепыми рассказами о крылатых кошках, прыгающих гномах, волшебном корне мандрагоры, заодно продавая всякие тайные снадобья против безнадежной любви и зубной боли, лотерейных билетов-пустышек и подагры.

Вдруг издалека послышалась странная музыка: звучали цимбалы, дудки и барабаны. Толпа мигом рассеялась и, валом валя по Корсо к Порта дель Пополо, громко кричала:

— Смотрите!.. Смотрите!.. Уж не начался ли карнавал? Смотрите!.. Смотрите!..

Кричавшие были правы. Ибо шествие, которое медленно двигалось от Порта дель Пополо по направлению к Корсо, только и можно было принять за удивительнейший маскарад. На двенадцати маленьких единорогах, белых, как снег, с золотыми копытцами, восседали существа, закутанные в алые атласные талары; они премило дудели в серебряные трубы, били в цимбалы и барабаны. В их таларах, как у «кающихся братьев», были прорезаны только отверстия для глаз, обшитые вокруг золотым галуном, что придавало им очень странный вид. Когда ветер чуть приподнял у одного из маленьких всадников полу талара, из-под нее выглянула птичья лапка, когти которой были унизаны бриллиантовыми перстнями. За этими двенадцатью прелестными музыкантами два гигантских страуса тянули сверкающий золотом тюльпан, установленный на помосте о четырех колесах. В нем сидел старишок с длинной седой бородой, в мантии из серебристой ткани; на его почтенной голове вместо шапочки красовалась серебряная воронка. Вздев на нос большие очки, старишок внимательно читал большую книгу. За ним шли двенадцать роскошно одетых мавров с длинными копьями и короткими саблями. Всякий раз, как старишок переворачивал страницу, пища при этом тоненьkim, пронзительным голоском: «Кури-пире-кси-ли-ии!» — они громовым голосом пели: «Брам-буре-бил-аламонса-кики-бурра-сон-тон!» Следом за маврами, на двенадцати иноходцах цвета чистого серебра, ехали двенадцать всадников, они, как и музыканты, сидели наглоухо закутанные; но их талары были богато вышиты по серебряному полю жемчугом и алмазами, а руки обнажены до плеч. Нежная округлость и красота их рук, украшенных роскошными запястьями, свидетельствовали, что под таларами скрываются прекрасные дамы, тем более что все они усердно вязали филе, для чего меж ушей иноходцев были укреплены широкие бархатные подушки. Следовавшую за ними большую карету влекли восемь красавцев мулов под золотыми чепраками: их вели под расшитые алмазами уздцы шестнадцать крошечных пажей в изящных камзольчиках из пестрых перьев. Мулы с неописуемым достоинством пряли настороженными ушами, и тогда слышались звуки, схожие с переборами гармоники. Им отвечали криком мулы и пажи, каждый на свой лад, и все это вместе звучало самым очаровательным образом. Люди теснились вокруг кареты, стараясь заглянуть в нее, но ничего не видели, кроме Корсо и себя, так как окна кареты были зеркальные. Иной, поглядев в них, мгновенно решал, что он сам и сидит в этой роскошной карете, отчего приходил в неистовый восторг. В такой же восторг пришла и вся толпа, когда разглядела малюсенького, очень приятного на вид Пульчинеллу, который, стоя на верху кареты, весьма учтиво и приветливо раскланивался с народом. В шуме общего необузданного веселья вряд ли кто приметил блестящую свиту, тоже состоявшую из музыкантов, мавров, пажей, наряженных в точности как первые; среди них было и несколько обезьян; со вкусом одетые в самые нежные цвета, они с выразительными гримасами танцевали на задних ногах, кувыркались и бегали, ища своих собратий. Так все это чудо шествовало вверх по

Корсо, пока не дошло до площади, где и остановилось перед дворцом князя Бастианелли ди Пистойя.

Створы дворцовых ворот открылись, и сразу смолкло веселье толпы. В мертвыйтишине глубочайшего изумления она узрела чудо. Поднявшись по мраморным ступеням, все — единороги, мулы, карета, страусы, дамы, пажи — без труда прошли сквозь узкие ворота, и многотысячное «ах!» огласило воздух, когда последние двадцать четырехмавра блестящими рядами проследовали внутрь, и ворота тут же мигом с шумом за ними захлопнулись.

Толпа долго, но тщетно глазела вслед сокрывающемуся шествию и, убедившись, что за воротами все тихо и спокойно, уже вознамериась взять приступом дворец, где исчезло сказочное чудо, однако усилиями сбиров была рассеяна.

Тогда все снова устремились вверх по Корсо. Но там, возле церкви Сан-Карло, стоял на своем помосте всеми покинутый синьор Челионати. Он кричал и бесновался ужасно:

— Глупые люди! Легковерные люди! Что вы носитесь, что бегаете как оглашенные, покинув своего честного Челионати? Лучше бы вы остались здесь, послушали из уст мудрейшего, многоопытнейшего философа и адепта разгадку чудес, на которые вы сейчас глазели широко разинув рты, как мальчики-несмышленыши! Однако я все вам открою. Слушайте! Слушайте! Я скажу вам, кто сегодня приехал во дворец Пистойя! Слушайте! Слушайте!... Скажу, кто там сейчас отряхает пыль с одежд!

Эти слова разом остановили толпу, шумным потоком несущуюся вперед, и теперь она вся уже теснилась вокруг помоста, уставившись на Челионати с жадным любопытством.

— Граждане Рима! — с пафосом возгласил Челионати. — Граждане Рима! Радуйтесь, веселитесь, ликуйте, бросайтесь в воздух шапки, шляпы или что у вас там на голове! Вам выпало превеликое счастье! В ваш город пожаловала из далекой Эфиопии всемирно известная принцесса Брамбilla, чудо красоты, к тому же владеющая столь неисчислимыми богатствами, что ей ничего бы не стоило вымостить весь Корсо крупнейшими алмазами и бриллиантами! И кто знает, что она готова сделать вам на радость! Я знаю, среди вас найдется немало людей, которых не назовешь безграмотными ослами, — людей, сведущих в истории. Эти знают, что светлейшая принцесса Брамбilla приходится внучкой мудрому королю Кофету, основавшему Трою, и что ее двоюродный дед, великий король Серендиппо, любезнейший господин, здесь у Сан-Карло вместе с вами, милые дети, не раз объедался макаронами. Если я еще добавлю, что от купели эту знатную даму Брамбillу восприял не кто иной, как королева Тароки по имени Тартальона, и что Пульчинелла обучал ее игре на лютне, то этих знаний вполне достаточно, чтобы вам прийти в восторг. Так беснуйтесь же, люди, от радости! С помощью тайных наук — черной, белой, желтой и синей магии — мне стало известно, что принцесса Брамбilla приехала сюда на поиски своего сердечного друга и жениха, ассирийского принца Корнельо Кьяппери, который покинул Эфиопию, чтобы удалиться себе коренной зуб, что я весьма успешно и выполнил. Вот он, этот зуб, перед вами!

Челионати открыл маленькую золотую коробочку, вынул из нее очень белый, длинный, острый зуб и поднял его высоко в воздух. Толпа громко вскрикнула от восхищения, нарасхват раскупая слепки зуба, которые шарлатан пустил в продажу.

— Слушайте, слушайте, добрые люди! — снова заговорил он. — После того как ассирийский принц Корнельо Кьяппери со стойкостью и терпением вынес эту операцию, сам он неизвестно куда исчез. Ищите его, люди, ищите ассирийского принца Корнельо Кьяппери, ищите повсюду — среди масок на Корсо, в своих комнатах, каморках, кухнях, погребах, в ящиках шкафов. Кто его найдет и невредимым доставит принцессе Брамбille, получит от нее в уплату за находку пятьсот тысяч дукатов. Во столько она оценила его голову, не считая содержимого сей головы, столь богатой умом и рассудком. Ищите его, люди, ищите! Но сможете ли вы разглядеть ассирийского принца, если бы даже он оказался у вас под самым носом? И сможете ли заметить принцессу Брамбillу, хотя бы она стояла рядом с вами? Нет, вы не сможете этого сделать, если не воспользуетесь очками, которые мудрый индийский маг и волшебник Руффиамонте самолично шлифовал и коими я из милосердия и чистой любви к ближнему готов вас снабдить, буде вы не пожалеете на это нескольких паоли. — Тут шарлатан открыл ящик и вынул целую груду большущих очков.

Если люди крепко вздорили между собой из-за принцева зуба, то теперь свара из-за очков усилилась еще вдвадцатеро. От ссоры перешли к тычкам и побоям, пока наконец, по итальянскому обычаю, не засверкали ножи, так что сбирали снова пришлось вмешаться и рассеять толпу, как это было перед дворцом Пистойя.

Пока это происходило, Джильо Фава, погруженный в глубокое раздумье, все еще стоял перед дворцом, неподвижно уставившись на его стены, за которыми так загадочно скрылось причудливейшее маскарадное

чествие. Ему казалось странным, что он никак не может преодолеть какое-то жуткое и в то же время сладостное чувство, целиком овладевшее его душой. Еще более странным казалось ему, что свою мечту о принцессе, которая яскрой вылетела из ружья и бросилась ему в объятия, он невольно связывал с этим причудливым шествием; более того, у него даже шевельнулась догадка, что в карете с зеркальными окнами сидела именно она — его сонная греза. Легкий удар по плечу вывел Джильо из задумчивости: перед ним стоял шарлатан.

— Эх, мой добрый Джильо! — заговорил Челионати. — Нехорошо вы сделали, что ушли от меня, так и не купив ни принцева зуба, ни волшебных очков.

— Оставьте меня в покое, — ответил Джильо, — не приставайте с вашими дурацкими шутками и нелепой болтовней, которой морочите людей, чтобы сбыть им свой никуда не годный хлам.

— Ого, сколько гордости, молодой человек! Я был бы рад выбрать для вас из моего, как вы изволили выразиться, негодного хлама верное средство, талисман, который помог бы вам стать отличным, хорошим или хотя бы сносным актером, ибо последнее время, господин Фава, вы изволите прескверно играть в своих трагедиях.

— Что? — взревел Джильо, не помня себя от злобы. — Синьор Челионати, вы позволяете себе называть меня скверным актером, меня, кумира римской публики?

— Куколка моя! — спокойно ответил Челионати. — Да ведь это вы себе только вообразили. В этом ни слова правды. Если иногда и случалось, что в минуту особого вдохновения некоторые роли вам удавались, то сегодня вы безвозвратно лишитесь даже той малости успеха или славы, которую снискали. Ведь вы совершенно забыли своего принца; а если порой его образ и встает в вашем сознании, то он потерял все свои краски, потускнел, закостенел, и не в ваших силах снова вдохнуть в него жизнь. Все ваши помыслы, все чувства сосредоточены на той странной мечте, которая, как вы сейчас думаете, проследовала в карете с зеркальными окнами во дворец Пистойя. Замечаете, что я читаю в вашей душе, как в открытой книге?

Джильо, покраснев, опустил глаза.

— Синьор Челионати, — прошептал он. — Вы, право, преудивительный человек. Должно быть, вам подвластны тайные силы, они вам помогают угадывать мои самые сокровенные мысли. А вместе с тем ваше шутовское поведение перед толпой... Одно с другим не вяжется. А впрочем, дайте мне пару ваших больших очков!

Челионати громко рассмеялся.

— Все вы, люди, таковы! — воскликнул он. — Пока здоровы, пока у вас ясная голова и хорошо варит желудок, вы верите лишь тому, что можете пощупать руками. Но стоит начаться у вас душевному или физическому несварению, как вы жадно хватаетесь за первое, что вам предлежат. Ха-ха! Профессор, который громил moi, да и все на свете симпатические средства, предавая их анафеме, на другой день с трогательной серьезностью прокрался к Тибру и, как ему посоветовала старая нищенка, бросил в воду левую туфлю в надежде, что утопит мучившую его злую лихорадку. А мудрейший из мудрейших синьоров, который зашил в уголок плаща порошок крестового корня, дабы преуспеть в игре в мяч? Я знаю, синьор Фава, вам хочется сквозь мои очки увидеть свою мечту, принцессу Брамбильлу. Но сейчас вам это не удастся. Впрочем, возьмите, попытайтесь.

Джильо жадно схватил красивые, блестящие, непомерно большие очки, которые протянул ему Челионати, и, надев их, взглянул на дворец. И — о диво! — стены его стали вдруг прозрачными, как хрусталь; но Джильо ничего не разглядел за ними, кроме смутно, беспорядочно мелькающих пестрых фигур, и только иногда по телу его словно пробегал электрический ток, возвещая о прекрасной мечте, которая, казалось, тщетно силилась вырваться из этого безумного хаоса.

— Всех злых чертей ада вам в глотку! — гаркнул вдруг чей-то громовой голос рядом с Джильо, поглощенным созерцанием дворца, и кто-то схватил его за плечо. — Всех злых чертей ада вам в глотку! Вы губите меня! Через десять минут поднимется занавес, ваш выход в начале первой сцены, а вы стоите тут, полуумный дурак, и глазеете на старые стены пустого дворца.

Это был импресарио театра, в котором играл Джильо; весь в поту, в смертельном страхе обегал он из конца и конец весь Рим в поисках своего исчезнувшего primo amoroso

— Одну минуту! — сказал Челионати и, крепко схватив Джильо за другое плечо так, что тот стоял теперь столбом, лишенный возможности даже шевельнуться. — Одну минуту! — и вполголоса добавил: — Синьор Джильо, может быть, завтра на Корсо вы увидите свою мечту. Но вы будете последним дураком, если вырядитесь в красивую маску, ибо это лишит вас возможности лицезреть прекрасную. Чем нелепее, чем уродливее, тем лучше! Чтобы нос был как можно крупнее и достойно, с душевным спокойствием носил мои очки! О них вам надо помнить в первую очередь!

Челионати отпустил Джильо, и вмиг импресарио умчался вместе со своим *amoroso*.

На другой же день Джильо, как советовал Челионати, не преминул раздобыть себе маскарадный костюм, который показался ему достаточно нелепым и безобразным: несразную шляпу с двумя длинными петушиными перьями, кней образину с красным крючковатым носом, превосходившим своей длиной и остротой самые чудовищные носы; камзол с крупными пуговицами, почти как у Бригеллы, и широкий деревянный меч. Но вся решимость надеть это сразу пропала у Джильо, когда дело дошло до широченных, спускавшихся до пят штанов, которым предстояло укрыть самый изящный пьедестал, на какой когда-либо был водружен *primo amoroso*.

— Нет! — воскликнул Джильо. — Не может быть, чтобы светлейшая не ценила красоты сложения, чтоб ее не отпугнуло такое вопиющее безобразие. Возьму-ка я пример с актера, который играл в пьесе Гоцци синеев чудовище. Одетый в уродливый костюм, он сумел из-под пятнистой тигриной лапы показать изящную руку, которой наделила его природа, и тем завоевал сердце дам еще до своего превращения. Что у него рука, то у меня нога! — И Джильо натянул на себя нарядные небесно-голубые панталоны с темно-красными бантиками, а к ним розовые чулки и белые башмаки с воздушными, тоже темно-красными бантиками, что выглядело очень нарядно, но совершенно не вязалось с остальным его одеянием.

Джильо не сомневался, что принцесса Брамбilla появится перед ним во всей роскоши и великолепии, окруженнная блестящей свитой. Но, ничего подобного не узрев, он вспомнил слова Челионати, что сможет разглядеть принцессу только сквозь волшебные очки: это значило, что красавица появится не в своем настоящем обличье, а под какой-нибудь особенной маской.

И Джильо принялся бегать по Корсо взад и вперед, не обращая внимания на шутки, отпускаемые на его счет, ищащего вглядываясь в каждую женскую маску, пока не забрел в какое-то отдаленное место.

— Любезный синьор! — услышал он чей-то скрипучий голос. Перед ним стоял человек, комичнее которого он в жизни не видел. Карнавальная харя с остроконечной козлиной бородкой, очки на носу, его поза — он подался туловищем вперед, сгорбив спину, выставив правую ногу, — все говорило, что это Панталоне. Но совершенно не соответствовала тому его шляпа с двумя длинными петушиными перьями, с заостренными впереди полями, сильно задранными кверху; камзол, штаны, маленький деревянный меч явно принадлежали добрейшему Пульчинелле.

— Любезный, дражайший синьор! — обратился к Джильо Панталоне (так мы станем называть эту маску, несмотря на ее измененный костюм). — Какой счастливый день! Ибо ему я обязан удовольствием и честью вас видеть! Не из одного ли мы семейства?

— Сколь ни велико мое восхищение, — ответил Джильо, — ибо вы бесконечно мне нравитесь, все же я не пойму, каким образом мы с вами оказались бы в родстве?

— О боже мой! — ответил Панталоне. — Скажите, дорогой синьор, бывали вы когда-нибудь в Ассирии?

— Некое смутное воспоминание говорит мне, что однажды я был уже на пути туда, но доехал только до Фраскати, где негодяй веттурино возле самых ворот меня опрокинул... так что мой нос...

— О боги! — воскликнул Панталоне. — Значит, это правда? Этот нос, эти петушиные перья... Мой дорогой принц! О мой Корнельо! Но я вижу, вы побледнели от радости, что вновь меня обрели... О мой принц! Выпейте глоточек, один только глоточек!

Тут Панталоне поднял стоявшую возле него оплетенную бутыль и протянул ее Джильо. Но в это мгновение из нее взвился легкий голубоватый дымок и, сгустившись, принял прелестный облик принцессы Брамбilly: однако миниатюрная изящная фигурка высунулась из бутыли лишь по пояс, протягивая к Джильо свои крошечные ручки. Тот, обезумев от восторга, вскричал:

— О, поднимись выше! Чтоб я мог тебя увидеть во всей красе!

Но здесь над его ухом раздался грубый голос:

— Эй ты, франт — заячий лапки в небесно-голубом я розовом! Как ты смеешь выдавать себя за принца Корнелью? Ступай домой и хорошенько проспись, болван!

— Грубиян! — воскликнул Джильо. Но в эту минуту толпой набежали маски, разъединили их, и Панталоне со своей бутылью бесследно исчез.

Глава вторая

О странном состоянии, в котором спотыкаешься об острые камни, больно раня ноги, забываешь поздороваться с достойными людьми и налетаешь головой на закрытые двери. — Действие блюда макарон на любовь и мечты. — Ужасные муки актерского ада и Арлекин. — Как Джильо не нашел своей милой, зато, связанный портными, подвергся кровопусканию. — Принц в коробке из-под конфет и утраченная возлюбленная. — Как Джильо возмечтал стать рыцарем принцессы Брамбиллы, потому что из спины у него вырос флаг.

Не гневайся, любезный читатель, если тот, что взялся рассказать тебе историю о принцессе Брамбилле именно так, как она была задумана на задорных рисунках мастера Калло, без церемонии потребует, чтобы ты, пока не дочитаешь сказку до последнего слова, добровольно отдался во власть всему чудесному — более того, хоть чуточку в эти чудеса поверил. Но, может быть, в то самое мгновение, как сказка скрылась во дворце Пистойя или принцесса появилась в голубоватой дымке винной бутыли, ты уже восхликал: «Что за глупые, смешные бредни!» — и сердито бросил книжку, даже не обратив внимания на ее прелестные гравюры? Тогда все, что я собираюсь рассказать, дабы ввести тебя в чарующий мир причудливых рисунков Калло, запоздало бы на горе мне и принцессе Брамбилле! Но, может быть, у тебя мелькнула надежда, что автор, испугавшись какого-либо странного видения, нежданно опять вставшего перед ним на пути, бросился в сторону и забрел в дремучую чащу, однако, опамятавшись, вновь выберется на прямую, широкую дорогу, и тогда тебе захотелось читать дальше? Дай-то бог! Должен тебе сказать, благосклонный читатель, что мне — может быть, ты это знаешь по собственному опыту — уже не раз удавалось уловить и облечь в чеканную форму сказочные образы — в то самое мгновение, когда эти призрачные видения разгоряченного мозга готовы были расплыться и исчезнуть, так что каждый, кто способен видеть подобные образы, действительно узревал их в жизни и потому верил в их существование. Вот откуда у меня берется смелость и в дальнейшем сделать достоянием гласности столь приятное мне общение со всякого рода фантастическими фигурами и непостижимыми уму существами, и даже пригласить самых серьезных людей присоединиться к их причудливо-пестрому обществу. Но мне думается, любезный читатель, ты не примешь эту смелость за дерзость и сочтешь вполне простительным с моей стороны стремление выманить тебя из узкого круга повседневных будней и совсем особым образом позабавить, заведя в чуждую тебе область, которая в концепциях концов тесно сплетается с тем царством, где дух человеческий по своей воле властвует над реальной жизнью и бытием. Но если все это тебя не убедило, то я в обуявшем меня страхе сошлюсь на весьма серьезные книги, в полной правдивости которых но возникает ни малейшего сомнения, хотя и в них происходит нечто схожее. Что касается чудесного шествия принцессы Брамбиллы с единорогами, иноходцами и прочими средствами передвижения, без труда прошедшиими через узкие ворота дворца Пистойя, то уже в «Удивительной истории Петера Шлемиля», поведанной нам славным мореплавателем Адальбертом фон Шамиссо, некий добродушный серенький человечек проделал такой кунштюк, который полностью посрамил описываемое мною чудо. Все знают, что он по заказу публики, не торопясь, без труда вытащил из кармана сюртука английский пластырь, подзорную трубу, ковер, палатку, а под конец экипаж с лошадьми. Что касается принцессы Брамбиллы... Но хватит об этом! Конечно, следует помнить, что в жизни мы зачастую оказываемся перед открытыми вратами волшебного царства и что нам дано заглянуть в тайную лабораторию, где хозяйствует могущественный дух, чье таинственное дыхание овеивает нас, наполняя странными предчувствиями; но ты, любезный читатель, с полным правом, вероятно, скажешь, что никогда тебе не мерещилось столь причудливое шествие, выходящее из тех врат, какое будто бы я видел я. И потому я лучше спрошу тебя, неужели ни разу в жизни не посещало тебя сновидение, которое ты не мог приписать ни испорченному желудку, ни воздействию винных паров или лихорадки? Милый чарующий образ, который прежде уже говорил с тобой только в смутных предчувствиях, таинственно сочетавшись с твоей душой, овладел всем твоим существом, и ты, полный робкого любовного томления, мечтал и не смел обнять нежную невесту, которая в светлых одеждах вошла в темную, мрачную мастерскую твоих мыслей, и она, озаренная ярким сиянием, исходившим от волшебного образа, вся раздалась. И в тебе зашевелилось, ожило, вспыхнуло тысячами ярких молний горячее стремление, чаяние, страстная жажды схватить неуловимое, удержать его, и ты готов был изойти в неизъяснимой боли, лишь бы раствориться в нем, в этом чудесном образе. Отрезвило ли тебя пробуждение? Разве не остался в тебе тот невыразимый восторг, который, едва ты очнулся от сна, пронизал твою душу мучительной болью? Не остался ли он в тебе? И не показалось ли тебе все вокруг пустым, печальным, тусклым? Будто только этот сон был подлинной жизнью, а то, что ты принимал за нее, лишь ошибка твоего ослепленного разума! Все твои мысли, как в фокусе, сходились в одной точке, и огненная чаша эта, вовравшая в себя пламя высочайшего горения, замыкала в себе твою сладостную тайну от слепой, бесплодной повседневной суеты. Гм! В таком мечтательном настроении натыкаешься на острые камни, больно раня ноги, забываешь поклониться достойным людям, желаешь друзьям доброго утра в глухую полночь, налетаешь головой на первую попавшуюся дверь, забыв ее отворить, — словом, дух твой носит тело как неудобную, не по мерке сшиную

дежду.

В такое состояние впал молодой актер Джильо Фава после того, как несколько дней подряд тщетно пытался напасть хотя на малейший след принцессы Брамбиллы. Все чудесное, что он увидел на Корсо, казалось ему только продолжением сна, где ему привиделась красавица: ее образ вставал перед ним из бездонного моря страстной тоски, и ему хотелось утонуть в нем, исчезнуть. Только этот сон был жизнью, все остальное пустым призраком, и потому, надо думать, он совершенно забыл о своем актерском призвании. Мало того, вместо слов роли он говорил о своей мечте, о принцессе Брамбилле, клялся победить ассирийского принца; путаясь мыслями, увержал, что тогда он сам и станет тем принцем, часто разражался пространными, бессвязными речами. Все, разумеется, сочли его помешанным, в первую очередь импресарио, который без церемоний прогнал его, лишив последнего заработка. Нескольких дукатов, которые он чистого великолюдия ради бросил бедняге на прощание, хватило лишь на считанные дни: Джильо ждала самая горькая нужда. Прежде это повергло бы несчастного в беспокойство и страх, но теперь он об этом не думал, витая в небесах, где в земных дукатах не нуждаются.

Свой голод, как насущную жизненную потребность — о том, чтобы полакомиться, он давно и думать забыл, — Джильо походя утолял у одного из тех харчевников, которые, как известно, располагаются со своей передвижной кухней прямо на улице под открытым небом. Однажды он шел мимо такой харчевенки, и оттуда так аппетитно запахло горячими макаронами, что у Джильо слюнки потекли. Он подошел, открыл кошелек, чтобы заплатить за свой скучный обед, и, к немалому своему удивлению, обнаружил, что в нем нет ни байокко. И тут в нем властно заговорило физическое начало, у которого наш дух, как бы он высоко ни заносился, здесь на земле находится в самом гнусном рабстве. Джильо почувствовал, что он ни разу прежде, когда был исполнен возвышенных мыслей, не ощущал такого нестерпимого голода, что он просто алчет упльст солидную порцию макарон, и стал заверять хозяина харчевни, что случайно при нем не оказалось денег и за миску макарон он завтра непременно заплатит. Харчевник засмеялся ему в лицо и заявил, что он и без денег отлично может утолить свой аппетит: стоит ему только оставить в залог свои красивые перчатки, шляпу или плащ. Лишь теперь бедный Джильо понял весь ужас своего положения. Ему живо представилось, как он, оборванный нищий, хлебает у монастырских ворот даровой суп. Еще сильнее его резнуло по сердцу, когда, очнувшись от своих мыслей, он внезапно заметил Челионати: шарлатан на своем обычном месте у церкви Сан-Карло потешал толпу шутовскими выходками и, как показалось Джильо, окинул его взглядом, в котором сквозила самая злая насмешка. Исчезло милое видение, погибли все счастливые надежды: Джильо понял, что бесчестный Челионати обольстил его дьявольскими уловками и, воспользовавшись его глупым тщеславием, недостойным образом обманул сказкой о принцессе Брамбилле.

Как бешеный бросился он бежать, позабыв про голод и думая только о том, как бы отомстить старому колдуну.

Он сам не знал, какое странное чувство вдруг пробилось в его душе сквозь всю злобу, всю ярость и заставило остановиться, будто его неведомыми чарами приковало к месту. «Джачинта!» — вырвалось у Джильо из груди. Он стоял перед домом, где жила его милая, к которой он так часто в уютны и сумеречный час взбирался по узкой, крутой лестнице. Ему вспомнилось, как его призрачная мечта впервые пробудила недовольство в милой девушке, как он потом ее покинул, больше не видел ее, перестал о ней думать, как утратил возлюбленную, был ввергнут в нужду, в лишения, — и все по милости Челионати, который бесчестно его одурачил. Изнемогая от горя и печали, Джильо долго не мог опомниться, пока наконец не принял решение немедленно подняться к Джачинте и, чего бы это ему ни стоило, вернуть ее любовь. Но когда Джильо постучался к ней в дверь, он в ответ не услышал ни звука. Он приложился ухом к двери: в комнате царила все та же мертвая тишина. Джильо несколько раз окликнул Джачинту по имени. Но когда и теперь не последовало ответа, он стал клясть свою глупость, трогательно жалуясь, что сам дьявол в образе окаянного шарлатана Челионати ввел его в соблазн, и в самых возвышенных выражениях молил возлюбленную простить его, заверяя в своем глубоком раскаянии и горячей любви.

Вдруг чей-то голос крикнул снизу:

— Хотелось бы мне знать, какой это осел в моем доме воет и стена, изливаясь в жалобах прежде времени — ведь до первой великолепной среды еще далеко!

Это говорил толстый хозяин дома — синьор Паскуале. С трудом поднявшись по узкой лестнице и узнав Джильо, он окликнул его:

— Это вы, синьор Джильо? Скажите на милость, какого черта вам вздумалось испускать свои ахи и охи, разыгрывая перед пустой комнатой роль из какой-то дурацкой трагедии?

— Пустой комнатой? — вскинулся Джильо. — Пустой комнатой? Ради всех святых, синьор Паскуале, скажите — где Джачинта? Где она, моя жизнь, мое сокровище?

Синьор Паскуале удивленно уставился на него, потом спокойно сказал:

— Синьор Джильо, я знаю, что с вами приключилось. Всему Риму известно, что вы малость рехнулись и что вам пришлось уйти со сцены. Сходите к врачу, велите пустить вам кровь и суньте голову в холодную воду.

— Я еще не сошел с ума, но непременно сойду, если вы мне сию минуту не скажете, где Джачинта, — взволнованно крикнул Джильо.

— Не притворяйтесь, — все так же спокойно ответил синьор Паскуале, — будто не знаете, каким образом Джачинта вот уже неделя как ушла из моего дома, а за ней последовала и старая Беатриче.

Но когда Джильо, совершенно разъяренный, закричал: «Где Джачинта?» — и обеими руками вцепился в толстого хозяина, тот так заорал: «Спасите! Спасите! Убивают!» — что весь дом всполошился. Хозяйский слуга — дюжий увалень, кинулся сюда, схватил бедного Джильо в охапку, скатился вместе с ним по лестнице и с такой легкостью выбросил из дома, словно в руках у него был грудной младенец.

Не обращая внимания на тяжелые ушибы, Джильо вскочил на ноги и помчался по улицам Рима, словно и впрямь охваченный безумием. Какой-то инстинкт, видимо выработанный привычкой, привел его в театр, в актерскую уборную, именно в тот самый час, когда прежде он спешил туда. Тут только он понял, куда попал, и пришел в величайшее изумление: там, где раньше расхаживали трагические герои, разодетые в золото и серебро, повторяя напыщенные стихи, которыми, как они воображали, приводят публику в восторг, он увидел Панталоне и Арлекина, Труффальдино и Коломбину — словом, всех масок итальянской импровизированной комедии и пантомимы. Неподвижный, стоял он, озираясь вокруг, как человек внезапно разбуженный от глубокого сна, который видит вокруг себя множество чужих, незнакомых ему диковинных людей.

Его растерянный, тосклиwyй вид, по-видимому, вызвал в душе импресарио нечто вроде угрызений совести: в нем проснулись человечность и мягкое сердечие.

— Вас, должно быть, сильно поражает, синьор Фава, — обратился он к юноше, — что все здесь совершенно изменилось с той поры, как вы меня оставили? Сознаюсь, все эти патетические деяния, которыми раньше кичился мой театр, стали наводить на публику смертельную скуку, да и на меня тоже, поскольку мой карман сильно пострадал, дойдя до полного истощения. Вот я и послал к чертям всю эту трагическую ахинею, предоставив свой театр вольной шутке, очаровательным дурачествам масок, и теперь чувствую себя как нельзя лучше.

— Ага! — с пылающим лицом воскликнул Джильо. — Сознайтесь, синьор импресарио, что с моим уходом пришел конец и трагедии, что с гибеллю героя умер, рассыпался в прах и зритель, которого он оживлял своим дыханием.

— Не станем так глубоко копаться, — улыбаясь, сказал импресарио. — Но вы, кажется, в плохом настроении, и я вам советую спуститься и посмотреть мою пантомиму! Может быть, она вас развеселит или заставит изменить образ мыслей, и тогда вы снова вернетесь ко мне, хотя совсем на другой лад, ибо возможно, что... Впрочем, идите, идите. Вот вам контрамарка, приходите в мой театр, когда вам вздумается.

Джильо повиновался скорее из тупого равнодушия ко всему окружающему, чем из действительного желания смотреть пантомиму.

Невдалеке от него стояли две маски, поглощенные жаркой беседой. Джильо услышал, что они часто упоминают его имя. Это вывело его из оцепенения, он подкрался поближе, закрыв лицо плащом до самых глаз, чтобы все подслушать, не будучи узнанным.

— Вы правы, — говорил один, — по вине Фавы в этом театре не ставят больше трагедий. Но зло не в том, что он ушел из театра, а наоборот — в том, что он здесь выступал.

— Что вы этим хотите сказать?

— А то, — ответил первый, — что я лично, невзирая на восторги публики, всегда считал этого Фаву бездарнейшим актером. Неужели блестящие глаза, стройные ноги, изящный костюм, пестрые перья на шляпе и яркие банты на башмаках — это все, что требуется от молодого трагического героя? Когда Фава выходил на сцену размеженным шагом балетного танцора, не обращая внимания на партнеров, скашивал глаза на ложи и застыпал в вычурной позе, давая возможность красавицам любоваться им, право же он казался мне в эту минуту молоденьким, дурацким пестрым петушком, который, гордо пыжась, красуется на солнышке. И когда он, закатив глаза, пилил воздух руками, то привставая на цыпочки, то складываясь пополам, как перочинный нож, и, спотыкаясь на словах,

глухим голосом скандировал свои трагические монологи, скажите, какого разумного человека могло это искренне тронуть, чью душу взволновать? Но мы, итальянцы, всегда таковы. Мы жаждем преувеличеннего, что потрясает нас на минуту и вызывает презрение, едва мы, опомнившись, видим вместо человека из плоти и крови безжизненную куклу, которую приводят в движение, дергая за веревочку, и которая обманула нас своими странными движениями. То же произошло бы и с Фавой: он постепенно угас бы самым жалким образом, если бы сам не ускорил своей гибели.

— Мне кажется, — заговорил другой, — вы слишком строго осуждаете бедного Фаву. Вы полностью правы, когда упрекаете его в тщеславии, в манерности; верной и то, что он играл не свои роли, а лишь самого себя, далеко не похвальным образом добиваясь успеха. Но актер он несомненно был талантливый, а то, что он помешался, должно вызывать у нас состраданье, тем более что причиной его сумасшествия была, надо думать, чересчур большая затрата сил во время игры.

— Не верьте вы этому! — отозвался второй собеседник. — Можете себе представить, что Фава рехнулся только из-за пустого тщеславия! Он вообразил, будто в него влюбилась принцесса, и теперь бегает за ней по всем улицам и закоулкам. И до нищеты он дошел от одного лишь безделья, так что сегодня ему пришлось оставить свои перчатки и шляпу у харчевника за миску вязких макарон.

— Да что вы? — изумился другой. — Неужели возможно такое безумство? А все же хорошо бы ему помочь, хоть из благодарности за то, что он иногда нас развлекал. Этому негодяю импресарио, которому он своей игрой изрядно набил карман, следовало б его поддержать, по крайней мере не дать умереть с голода.

— Нет надобности, — ответил первый. — Принцесса Брамбилла знает о его нужде и помешательстве; как все женщины, она считает любовное безумие не только простительным, но и прекрасным, и, слишком охотно отдаваясь чувству сострадания, она только что велела незаметно сунуть ему кошелек, полный дукатов.

Услышав слова незнакомца, Джильо инстинктивно схватился за карман и нашупал в нем кошелек, наполненный звонким золотом, якобы подаренный ему эфемерной принцессой Брамбиллой. Словно электрический удар потряс его тело. Он даже не обрадовался желанному чуду, которое разом избавляло его от безысходной нужды: ужас обдал Джильо леденящим холодом. Он понял, что стал игрушкой неведомых сил, и уже готов был броситься на незнакомую маску, но обе они бесследно исчезли.

Вытащить из кармана кошелек и воочию убедиться в его реальности Джильо не отважился, боясь, как бы призрачный дар не растаял у него в руках. Но, хорошенько поразмыслив, он понемногу успокоился и подумал: ведь то, что он склонен был принять за наваждение бесовских сил, в конце концов, возможно, лишь шутовская игра, которую ведет с ним злокозненный Челионати из темной глубины кулис, дергая его за ниточку, невидимую лишь ему одному. Джильо пришло в голову, что в этой давке незнакомец сам мог отлично подсунуть ему кошелек и что его слова о принцессе Брамбилле лишь продолжение издевательской шутки, разыгрываемой над ним Челионати. Но теперь, когда все это волшебство, утратив таинственность, естественно стало чем-то обыденным, Джильо снова ощутил боль тех ран, какие беспощадно нанес ему резкий критик. И в аду не уготовано актеру более тяжких мук, чем раны, нанесенные тщеславию, ибо они попадают в самое сердце. Особая чувствительность на этот счет вместе с возрастающим возмущением еще усиливает боль удара, сколько бы ни старался раненый ее стерпеть или смягчить любыми средствами. Вот почему у Джильо никак не шло с ума злосчастное сравнение с молоденьким, дурацким пестрым петушком, который пыжится, самодовольно красуясь на солнышке, и он тем сильнее досадовал и злился именно потому, что в глубине души не мог не сознаться, что карикатура точно соответствует оригиналу.

Взволнованный, расстроенный Джильо, естественно, почти не смотрел на сцену и не видел пантомимы, хотя зал часто так и гудел от смеха, аплодисментов и веселых возгласов зрителей.

Пантомима представляла собой не что иное, как тысячу вариацию на тему о любовных злоключениях славного Арлекина и прелестной плутовки Коломбины. Уже очаровательная дочка старого богача Панталоне отвергла руку блестящего, нарядного рыцаря и ученого dottore, наотрез объявив отцу, что никогда не полюбит и не выйдет ни за кого, кроме маленького, ловкого человека со смуглым лицом, в камзоле, сшитом из множества разноцветных лоскутков. Уже Арлекин и его верная возлюбленная пустились в бегство и, хранимые неким могучим волшебником, счастливо ускользнули от преследований Панталоне, Труффальдино, dottore и рыцаря. Однако можно было опасаться, как бы сбiry не схватили Арлекина, воркующего со своей Коломбиной, и не уволокли обоих в тюрьму. Так оно и случилось, но в ту минуту, как Панталоне и его сообщники стали издеваться над бедной парочкой, а страдающая Коломбина, обливаясь слезами, молила на коленях за своего Арлекина, тот взмахнул палкой, и со всех сторон — из-под земли, с небес — появились нарядные, блестящие люди и, склонившись перед

ним, с триумфом увели его вместе с Коломбиной. Панталоне, осталбенев от изумления, опускается на скамью в тюрьме и приглашает рыцаря с dottore сесть рядом; все трое советуются, что им делать. Труффальдино становится сзади, просовывает между ними голову и не хочет уходить, хотя пощечины градом сыплются на него со всех сторон. Они уже собираются встать, но, оказывается, какой-то волшебной силой их приковало к скамье, у которой вдруг выросли крылья. На этой гигантской птице вся честная компания, громко взывая о помощи, взвивается в воздух. Теперь тюрьма превратилась в открытую залу с колоннами, увитыми венками, и высоким, великолепно украшенным троном посредине. Слышится приятная музыка барабанов, труб и цимбал. Приближается блестящий кортеж. Мавры несут в паланкине Арлекина, за ним в роскошной триумфальной колеснице следует Коломбина. Богато разодетые министры ведут их к трону. Арлекин вместо скипетра поднимает свою палочку: все, склонив колени, присягают ему на верность и славят его. В толпе виднеется Панталоне со своими приспешниками, тоже коленопреклоненные. Арлекин — могучий король, вместе со своей Коломбиной правит прекрасной, благодатной, светлой страной.

Когда это шествие появилось на сцене, Джильо случайно взглянул на него и больше не мог отвести глаз: к своему полному изумлению, он узнал кортеж принцессы Брамбиллы — единорогов, мавров, дам, вяжущих филе на иноходцах, а также остальных. Был здесь и старичок в сверкающем золотом тюльпане — маститый ученый и государственный муж. Проезжая мимо Джильо, он поднял глаза от книги и, как тому показалось, приветливо ему кивнул. Только Коломбина приехала сюда не в закрытой зеркальной карете, как принцесса Брамбilla, а в открытой триумфальной колеснице.

В душе Джильо шевельнулась смутная догадка, что и эта пантомима чем-то таинственно связана с чудесами, которые он пережил. Но подобно тому, как грезящий человек тщетно стремится удержать в памяти родившиеся в нем образы, так и Джильо не мог уразуметь, как могла возникнуть эта связь.

В ближайшей кофейне Джильо убедился, что дукаты принцессы Брамбиллы не мираж, а полновесные монеты отличного звона и чеканки. «Гм! — подумал он, — это Челионати подсунул мне кошелек, проникшись уважением и состраданием ко мне. Но я возвращу ему долг, как только заблистаю в театре «Аргентина», что непременно случится, ибо только из самой черной зависти, самых злостных происков люди могут так подло клеветать на меня, называя бездарным актером». Предположение Джильо, что дукаты подсунуты ему Челионати, было не лишено основания: старик и раньше не раз выручал его из нужды. Но его взволновали загадочные, вышитые на изящном кошельке слова: «Помни о своей мечте!» Он задумчиво смотрел на надпись, когда кто-то крикнул над самым его ухом:

— Наконец ты мне попался, вероломный изменник, чудовище лжи и неблагодарности!

Некто в уродливой маске доктора толкнул его, бесцеремонно уселся с ним рядом и принялся осыпать всяческими ругательствами.

— Что вам от меня нужно? Вы что, взбесились? — вскипал Джильо. Но в это мгновение доктор снял свою безобразную маску, и Джильо узнал старую Беатриче.

— Святые угодники! — горячо воскликнул он. — Это вы, Беатриче. Ради бога, скажите, где Джачинта? Где мое милое, прелестное дитя? Сердце у меня разрывается от любви и тоски. Где Джачинта?

— И вы еще спрашиваете, подлый? — угрюмо ответила старуха. — В тюрьме бедная Джачинта, губит там свою молодую жизнь, а все вы виноваты! Не была бы ее головка полна вами, она спокойно бы дождалась вечера, не уколола бы в темноте пальчика, отделявая платье принцессы Брамбиллы, не посадила на нем кровавого пятна и достопочтенный маэстро Бескапи — да поглотит его ад! — не стал бы с нее требовать возмещения убытков, — нам было не достать столько денег, — не упек бы в тюрьму за долги. Вы могли бы помочь, но негодный господин актер отвернулся от нас...

— Стой! — прервал Джильо болтливую старуху. — Это твоя вина! Почему ты не прибежала ко мне, не рассказала всего? Жизнь отдам за милую! Не будь сейчас полночь, я бы отправился к этому негодяю Бескапи... вот дукаты... И моя милая была бы через час свободна. Но что мне полночь! Бегу, бегу спасать ее! — С этими словами Джильо вихрем умчался. Старуха злорадно расхохоталась ему вслед.

Но с нами часто бывает, что, берясь за дело со слишком большой горячностью, мы забываем о главном: запыхавшись, Джильо обегал все улицы Рима и только тогда вспомнил, что не знает, где живет Бескапи и забыл спросить об этом у старухи. Однако судьбе или случаю было угодно, чтоб под конец, очутившись на площади Испании, он остановился у самого его дома, громко крича:

— Где же тут живет этот чертов Бескапи?

Какой-то незнакомец, взял его под руку, повел в дом, говоря, что маэстро Бескапи живет именно здесь и что синьор может еще получить, как видно, заказанный им маскарадный костюм. Они вошли в комнату, и его спутник попросил, чтобы, ввиду отсутствия маэстро Бескапи, Джильо сам указал, какой костюм он велел оставить за собой, простое ли табарро или другой какой-нибудь. Но Джильо накинулся на этого человека — то был весьма достойный подмастерье Бескапи, — и такое понес о кровавом пятне, о тюрьме, уплате денег и немедленном освобождении, что ошеломленный портняжка уставился ему в глаза, потеряв дар речи.

— Проклятый! Тебе не угодно меня понять? Немедленно подавай мне своего хозяина, эту чертову собаку! — завопил Джильо, схватив подмастерья за грудь. И тут случилось то же, что в доме синьора Паскуале. Подмастерье так завопил, что со всех сторон сбежались люди. Влетел сюда и сам Бескапи, но едва увидел Джильо, как закричал:

— Господи помилуй! Ведь это же сумасшедший актер Джильо Фава! Хватайте его, люди, хватайте скорее!

Все накинулись на него, без труда одолели и, связав по рукам и ногам, уложили в постель. Бескапи подошел к нему, и Джильо облил его целым потоком упреков за жадность, жестокость, стал говорить о платье принцессы Брамбиллы, о кровавом пятне, о возмещении убытком и т. п.

— Успокойтесь, милейший синьор Фава, — мягко убеждал его Бескапи. — Забудьте о призраках, которые преследуют вас. Через минуту все представится вам совсем в другом свете.

Что он подразумевал под этими словами, вскоре объяснилось: в комнату вошел хирург и, несмотря на все сопротивление Джильо, пустил ему кровь. Обессиленный потерей крови и всем пережитым за день, бедный Джильо впал в глубокий, похожий на обморок, сон.

Когда он очнулся, кругом царила полная темнота; с великим трудом удалось ему вспомнить, что с ним недавно произошло. Он чувствовал, что его развязали, но от слабости не мог шевельнуться. Сквозь щель, по-видимому в двери, в комнату проникал слабый луч света, и Джильо показалось, будто он слышит чье-то взволнованное дыхание, потом легкий шепот, под конец перешедший в отчетливую речь:

— Это в самом деле вы, мой дорогой принц! И в каком состоянии! Вы так малы, так малы, что, кажется, могли бы уместиться в коробке из-под конфет! Но не думайте, что я вас от этого меньше ценю и уважаю. Разве я не знаю, что вы красивый, видный мужчина и что все это мне сейчас только снится? Но прошу вас, покажитесь мне завтра или хотя бы дайте услышать вас! Если уж вы удостоили бедную девушку взглядом, ибо то непременно должно было случиться, иначе... — Тут слова снова перешли в невнятный шепот. В этом голосе звучала необычайная, трогательная нежность. Сладкий трепет охватил Джильо, но, пока он напрягал слух, шепот, похожий на журчание близкого ручейка, убаюкал его, и Джильо снова крепко уснул.

Солнце уже весело заглядывало в комнату, когда чье-то мягкое прикосновение разбудило его. Перед ним стоял маэстро Бескапи; взяв его за руку, он с добродушной улыбкой спросил:

— Не правда ли, дорогой синьор, вам лучше? Ну слава богу! Вы немного бледны, зато ваш пульс бьется спокойно. Само небо привело вас в мой дом во время вашего жестокого припадка и дало мне возможность оказать вам небольшую услугу. Я счастлив этим, ибо считаю вас лучшим в Риме актером, об уходе которого все мы глубоко скорбим. — Разумеется, последние слова Бескапи были самым целительным бальзамом для ран, нанесенных самолюбию Джильо; тем не менее он сурово и мрачно заявил:

— Синьор Бескапи, я не был ни болен, ни помешан, когда пришел к вам в дом. Вы проявили ужасное жестокосердие, засадив в тюрьму мою милую невесту, бедняжку Джачинту Соарди, за то, что она испортила, нет, освятила красивое платье алой кровью, которая брызнула из ее нежного пальчика, уколотого иглой. Скажите скорее, сколько вы требуете за это платье: я уплачу за него, мы тут же пойдем с вами и освободим прелестное дитя из тюрьмы, в которую ее ввергла ваша алчность.

Тут Джильо быстро, насколько ему позволили силы, поднялся с постели и вынул из кармана кошелек с дукатами, который готов был, если понадобится, опустошить весь целиком. Но Бескапи вытаращил на него глаза и сказал:

— И как только могла взбрести вам в голову такая чепуха, синьор Джильо? Я знать ничего не знаю ни о платье, которое будто бы испортила мне Джачинта, ни о кровавом пятне, ни о тюрьме.

Но когда Джильо снова стал рассказывать все, что слышал от старой Беатриче, и в особенности подробно описал платье, которое видел у Джачинты, Бескапи заявил, что старуха явно его обманула; вся эта история выдумана от начала до конца, никогда он не отдавал Джачинте в работу такого платья, какое якобы видел у нее актер. Джильо не мог не поверить Бескапи: иначе с какой бы стати вздумал тот отказываться от предложенных денег? Теперь наш герой окончательно уверился, что здесь орудуют странные, призрачные силы, с некоторых пор впутавшие его в свою игру. И ему ничего другого не оставалось, как уйти от Бескапи и терпеливо дожидаться, не приведет ли счастливый случай в его объятия прелестную Джачинту, к которой он сейчас снова пытал любовью.

У двери дома Бескапи стоял человек, которого Джильо хотелось бы видеть за тысячи миль отсюда, а именно старый Челионати.

— Эй, эй! — смеясь, окликнул он Джильо. — Предобрая вы душа, коли готовы все денежки, что привалили к вам по милости судьбы, отдать ради милой, которая больше уже не ваша милая!

— Вы страшный, ужасный человек! — ответил Джильо. — Зачем вы вторгаетесь в мою жизнь? Зачем стремитесь подчинить ее себе? Вы хвастаетесь своим всезнанием, но оно, вероятно, дается вам без особого труда. Окружаете меня шпионами, которые рыскают за мной по пятам, следят за каждым моим шагом, всех натравливаете против меня. Из-за вас я потерял Джачинту, свою службу... тысячей уловок вы...

— Что ж, — громко смеясь, прервал его Челионати. — Разве не стоило потрудиться, оберегая от промахов драгоценную персону господина экс-актера Джильо Фаву? Ведь ты, мой сын Джильо, нуждаешься в опекуне, который направил бы тебя на верный путь и привел к цели.

— Я совершенолетний, — вскинулся Джильо, — позвольте мне, синьор шарлатан, самому отвечать за себя!

— Ого, сколько самоуверенности! — сказал Челионати. — Как, даже в том случае, если б я желал тебе всемерного добра, величайшего счастья, явился бы посредником между тобой и принцессой Брамбиллой?

— О Джачинта, Джачинта! Несчастнейший человек, я потерял тебя! Был ли во всей моей жизни более злополучный день, чем вчерашний? — воскликнул Джильо, не помня себя от горя.

— Ну, ну, — сказал Челионати, успокаивая его. — Так ли уж злополучен был этот день? Урок, который вы получили в театре, пойдет вам на пользу. Вы успокоились, — теперь не придется оставлять у харчевника перчатки и плащ замиску слипшихся макарон. Вам удалось посмотреть великолепнейшее представление, можно сказать — лучшее в мире, ибо оно без слов выражает самые глубокие мысли. И, наконец, вы обнаружили у себя в кармане деньги, которых вам сильно не хватало.

— Они были от вас, от вас, я знаю, — прервал его Джильо.

— А если б и на самом деле от меня? Какая разница? — сказал Челионати. — Довольно того, что вы нежданно-негаданно получили деньги, отчего встали опять на дружескую ногу со своим желудком, очутились в доме Бескапи, где вам пустили кровь — полезная для вас и необходимая операция, — и наконец провели ночь под одной крышей со своей возлюбленной!

— Что вы такое говорите? — воскликнул Джильо. — Под одной крышей с моей возлюбленной?

— Да, да, так оно и есть, — ответил Челионати. — Взгляните-ка наверх!

Джильо поднял глаза, и тысячи молний пронзили его сердце, когда он увидел на балконе милую Джачинту; изящно одетая, она была прекраснее и очаровательнее, чем когда-либо; позади нее стояла старая Беатриче.

— Моя Джачинта! Любовь моя! Моя отрада! — горячо воскликнул Джильо. Но Джачинта только окинула его презрительным взглядом и ушла с балкона. Беатриче следовала за ней по пятам.

— У нее все еще продолжается эта проклятая сморфия, — раздосадованно сказал Джильо. — Но, вероятно, она скоро кончится.

— Не думаю, не думаю, — проговорил Челионати. — Ведь вы не знаете, мой добрый Джильо, что пока вы так смело домогались любви принцессы Брамбиллы, в вашу донну влюбился красивый, статный принц, и она, по-видимому...

— Дьяволы ада! — вскричал Джильо, — эта старая чертовка Беатриче свела с ним мою бедняжку! Но я отправлю

крысиным ядом подлую старуху, а проклятому принцу всажу в сердце кинжал!

— Бросьте, мой добный Джильо! Спокойно отправляйтесь домой и велите снова пустить себе кровь, если на вас нападут дурные мысли. Да сопутствует вам господь! На Корсо мы опять свидимся!

С этими словами Челионати помчался по улице.

Джильо, словно приросший к месту, бросал свирепые взгляды на балкон и, скрежеща зубами, бормотал ужаснейшие проклятия. Но когда маэстро Бескапи, высунувшись из окна, учили просил его войти в дом, дабы переждать новый, видимо близкий, приступ болезни, Джильо, уверенный, что и маэстро в заговоре со старухой, бросил ему в лицо «проклятый сводник!» и как безумный кинулся прочь.

На Корсо он встретился с несколькими прежними товарищами по театру, и все они отправились в ближайший винный погребок, где Джильо надеялся избыть все свое горе, любовную тоску и отчаяние, растопив их в пламени огненного сиракузского.

Вообще-то такой способ не рекомендуется, ибо пламя это хоть и поглощает горе, зато, неукротимо вспыхивая, зажигает в душе то, что обычно следует держать подальше от огня; но с Джильо дело получилось как нельзя лучше. В занимательной, приятной беседе с товарищами-актерами, упиваясь всякого рода воспоминаниями о веселых эпизодах театральной жизни, он и вправду забыл о всех своих горестях. Прощаясь, друзья условились между собой сойтись вечером на Корсо, наряженные в самые нелепые костюмы, какие только можно было себе вообразить.

Костюм, в который Джильо уже облачился однажды, показался ему достаточно карикатурным; на этот раз он уже не пренебрег смешными, длинными, до пят, штанами. Вдобавок он вздел заднюю полу плаща на конец привязанной к спине палки, отчего казалось, будто у него из спины выросло знамя. В таком забавном виде он как бешеный носился по улице, веселясь от души и начисто забыв о своей мечте и об утраченной возлюбленной.

Вдруг его как приковало к месту: от дворца Пистоя навстречу ему шла высокая, стройная фигура в том же пышном одеянии, каким когда-то поразила его Джачинта; иными словами, он увидел перед собой свою мечту, претворенную в жизнь, в яркую действительность. Словно электрический удар пронизал все его существо. Он сам не понимал, как это случилось, но застенчивость и робкое любовное желание, которое обычно в присутствии внезапно появившейся возлюбленной парализуют ум и сердце мужчины, перешли в такую бесшабашную веселость и радость, каких Джильо никогда еще не испытывал. Выставив правую ногу, выпятив грудь и расправив плечи, он сразу встал в изящнейшую позу, в какой обычно читал свои самые трагические монологи, стащил с жесткого парика берет с длинными петушиными перьями и, пристально глядя сквозь громадные очки на принцессу Брамбильлу — вне всякого сомнения, то была она, — заговорил скрипучим голосом под стать своей маске:

— Прелестнейшая из фей, величавейшая из богинь спустилась на землю. Завистливая маска скрывает победную красоту ее лика. Но блеск, излучаемый ею, рождает тысячи молний, поражая сердца юношей и старцев, и все они, воспламененные любовным восторгом, славят Небесную!

— Из какой высокопарной пьесы, — отзывалась принцесса, — заимствовали вы эти прекрасные речи, господин капитан Панталоне или как вас там еще зовут-величают? Скажите лучше, о какой победе вещают трофеи, которые вы столь гордо носите на спине?

— Это не трофеи, — ответил Джильо, — ибо я только еще добиваюсь победы! Это знамя надежды, страстной любви, которому я присягнул, выкинутое в знак того, что я сдаюсь на волю победительницы! Своим шелестом оно взвыает: смилисться надо мной! О принцесса, сделайте меня своим рыцарем! И я стану сражаться, побеждать и носить трофеи во славу вашей красоты и прелести!

— Если вам угодно стать моим рыцарем, — проговорила принцесса, — то вооружитесь, как положено рыцарю! Наденьте на голову грозный шлем, возьмите в руки широкий, острый меч! Тогда я вам поверю!

— А если вы согласны стать моей дамой, — заявил Джильо, — Ринальдовой Армидой, то будьте ею всецело! Снимите роскошный наряд, который меня ослепляет, обольщает опасными чарами. Это яркое кровавое пятно...

— Вы с ума сошли! — с живостью воскликнула принцесса и, покинув Джильо, быстро удалилась.

Джильо казалось, будто не он только что разговаривал с принцессой, не по своей воле высказал то, чего теперь

сам совсем не понимал: в эту минуту он готов был поверить, что и синьор Паскуале и маэстро Бескари справедливо сочли его немного тронувшимся. Но тут появилась целая компания ряженых в масках такого потрясающего безобразия, какое только могла измыслить самая изощренная человеческая фантазия. Джильо сразу узнал своих товарищей, и снова его охватила исступленная веселость. Он быстро вмешался в эту кривляющуюся, скачущую ораву, громко выкрикивая:

— Кипи, кипи, безумное веселье! Беснуйтесь, своевластные, проказливые духи дерзкой шутки! Я ваш всецело! Признайте же во мне своего!

Джильо показалось, будто среди его товарищей был и старик, из чьей винной бутылки возник образ принцессы Брамбиллы. Но не успел он взглянуться, как тот обхватил его, завертел по кругу, крича ему в самое ухо:

— Поймал тебя, братец, поймал! Теперь ты мой!

Глава третья

О белокурых головах, имеющих дерзость порой находить Пульчинеллу безвкусным и скучным. — Немецкая и итальянская шутка. — О том, как Челионати, сидя в «Caffe greco»

[6]

, утверждал, будто находится сейчас не в «Caffe greco», а на берегу Ганга, где изготавляет парижское *rape*

[7]

. — Чудесная история короля Офиоха, правившего страной Урдар-сад, и королевы Лирис. — Как король Кофетуа женился на нищенке, а высокородная принцесса бегала за жалким комедиантом; Джильо же, нацепив деревянный меч, носился по Корсо за сотней масок, пока наконец не остановился, увидев, как танцует его двойник.

— Вы, белокурые! Вы, синеглазые! Вы, гордые молодые люди, от чьего «Добрый вечер, прелестное дитя!», произнесенного громовым голосом, шарахается в ужасе самая отчаянная девчонка, — оттаять ли вашей крови, застывшей в вечном холоде зимних морозов, от порывистой трамонтаны или жаркой любовной песни? Что вы бахвалитесь своей жизнерадостностью, веселостью, если не чувствуете прелести самой шутливой, самой смешной из шуток, какие с такой полнотой и щедростью дарит вам наш благословенный карнавал? Ведь вы даже иногда осмеливаетесь находить нашего славного Пульчинеллу безвкусным и скучным, а забавнейших уродов, каких только создавала веселая насмешка, называете порождениями смятенного разума! — Так разглагольствовал Челионати в «Caffe greco», куда он, по своему обыкновению, заглянул вечером на час-другой; он сидел за столиком этой кофейни, помещавшейся на улице Кондотти, с немецкими художниками, тоже ее завсегдатаями, которые сейчас вовсю критиковали карнавальные маски.

— Как вы можете так говорить, маэстро Челионати? — сказал немецкий художник Франц Рейнгольд. — Ваши слова плохо вяжутся с теми похвалами, что вы раньше расточали немецкому уму и характеру. Правда, вы всегда корили нас, немцев, за то, что мы требуем от шутки чего-то большего, чем голая шутка, и в этом я с вами согласен, хотя совсем в другом смысле, чем вы, может быть, полагаете. Боже вас сохрани думать, будто мы так глупы, что приаем иронии лишь чисто аллегорическое значение. Вы впали бы в большую ошибку. Мы прекрасно видим, что настоящей шутке, шутке как таковой, живется у вас, итальянцев, куда привольнее, чем у нас. Мне только хотелось бы возможно отчетливей объяснить вам, какова, по-моему, разница между вашей шуткой и нашей или, лучше сказать, между вашей иронией и нашей. Вот мы говорим о странных, причудливых фигурах, какие носятся сейчас по Корсо: здесь я по крайней мере могу сделать какое-то сравнение. Когда я вижу такого забавного малого, который своими отчаянными гримасами и телодвижениями вызывает в толпе безудержный смех, мне кажется, будто с ним говорит его прообраз, ставший для него зримым; но его языка он не понимает, и, как обычно в жизни, когда человек старается уловить смысл чуждых ему, непонятных слов, он подражает жестам этого прообраза, однако сильно их утрируя, потому что это дается ему не без труда. Наша шутка — это язык того прообраза: она звучит у нас из глубины души, обусловливая жест в силу иронии, заложенной в ней; подобно тому как большой камень, лежащий на дне быстрого ручья, взбивает на поверхности воды курчавые барашки. Не подумайте, синьор Челионати, что я лишен чувства юмора и не воспринимаю смешного, не имеющего глубоких корней, питающегося только внешними мотивами, что я не отдаю должного вашему народу за исключительный дар схватывать и претворять в действие смешное. Но простите меня, Челионати, если я нахожу необходимым сдобрить это смешное, коль скоро мы его допускаем, некоторым добродушием, а его ваши комические персонажи, по-моему, полностью лишены. Добродушие, которое смягчает нашу шутку, тонет у вас в тех непристойностях, какие вносят в свои шутки Пульчинелла и сотни других масок, ему подобных; и тогда сквозь карикатурные рожи, буффонные дурачества, проглядывает страшная фурия ярости, ненависти, отчаяния, доводящая вас до безумия, до смертоубийства. И в тот день карнавала, когда каждый старается потушить у другого свечу, когда среди бешеного исступленного веселья и оглушительного хохота все Корсо потрясает дикий вопль «Ammazzato sia, chi non porta moccolo!»

[8]

поверьте мне, Челионати, что в то мгновение, как я, зараженный весельем толпы, громче остальных дуло и кричу: «Ammazzato sia!» — меня охватывает жуткий страх, при котором нет места моему немецкому добродушию.

— Добродушие! — улыбаясь, повторил Челионати. — Скажите мне, господин, добродушный немец, что вы

думаете о наших театральных масках? О нашем Панталоне, Бригелле, Тарталье?

— О, — ответил Рейнгольд, — я считаю, что эти ваши маски открывают неисчерпаемую залежь забавнейшей насмешки, меткой иронии, вольной, я бы сказал, даже дерзкой шутки, хотя, мне кажется, их больше занимают всякого рода внешние явления человеческой природы, чем она сама, или скорее люди вообще, чем человек в частности. Впрочем, прошу вас, Челионати, не думать, будто я настолько глуп, что отказываю вашей нации в юморе — у вас не мало людей, наделенных им в глубочайшей степени. Незримая община не знает различия наций: она имеет своих членов повсюду. Маэстро Челионати, сказать, правду, — вы всем своим существом, всем поведением уже с давних пор кажетесь нам совершенно особенным человеком. То вы кривитесь перед толпой, как самый заправский шарлатан, то опять забываете в нашем обществе обо всем итальянском и развлекаете нас изумительными историями, которые глубоко западают нам в душу, а затем снова принимаетесь плести всякий вздор, умея захватить нас, опутать своими колдовскими чарами. Люди правы, ославив вас колдуном; я же лично думаю, что вы принадлежите к той незримой общине, которая объединяет самые разнообразные члены, хотя все они вырастают из одного туловища.

— Да что вы можете думать обо мне, предполагать, подозревать, господин художник, — горячо воскликнули Челионати. — Можете ли вы с полной уверенностью сказать, что я сижу сейчас с вами и неизвестно зачем болтаю всякую чепуху о вещах, в которых вам никогда не разобраться, если вы не гляделись в светлое зеркало вод Урдар-озера и вам не улыбалась королева Лирис?

— Ого! — воскликнули все наперебой. — Сел на своего конька! Сейчас пойдут прыжки и курбеты! Вперед, господин колдун! Вперед!

— Ну есть ли разум в этих людях? — крикнул Челионати, так сильно стукнув кулаком по столу, что все разом умолкли. — Ну есть ли разум в этих людях? — повторил он уже спокойнее. — Какие прыжки, какие курбеты? Я только спросил вас, откуда у вас уверенность, что я в самом деле сейчас сижу среди вас и веду всякие разговоры, которые, как вам кажется, вы слышите собственными ушами, хотя, может быть, вас только дразнит какой-нибудь шаловливый сильф? Кто вам поручится, что тот самый Челионати, которого вы хотите убедить, будто итальянцы ничего не смыслят в иронии, в данную минуту не гуляет по берегу Ганга, срывая душистые цветы, чтобы изготовить из них парижское гаре для носа какого-либо мистического идола? Или что он не бродит в Мемфисе меж темных, страшных гробниц, чтобы выпросить у старейшего из фараонов мизинец левой ноги и сварить из него снадобье для лечения самой гордой принцессы Аргентины? Или что он сейчас не сидит, беседуя со своим задушевным другом, волшебником Руффиамонте, на берегу Урдар-озера? Постойте, я и вправду сделаю вид, будто Челионати сидит здесь, и расскажу вам о короле Офиохе, королеве Лирис и о зеркале вод Урдар-озера, если, конечно, вам интересно об этом послушать.

— Рассказывайте, рассказывайте же, Челионати, — отозвался один из молодых художников. — Я предвижу, это будет одна из ваших обычных историй, в достаточной мере диковинных, фантастических, которые все ж очень интересно слушать.

— Не думайте только, будто я собираюсь угостить вас какой-нибудь вздорной сказкой; не сомневайтесь, что все так и происходило, как я вам расскажу. Всякое сомнение исчезнет, если я вас заверю, что все это я слышал из уст моего друга Руффиамонте, который сам в некотором роде является в этой истории главным действующим лицом. Всего каких-нибудь двести — триста лет назад мы, бродя мимо горячих гейзеров Исландии в поисках талисмана, возникшего из воды и пламени, много толковали об Урдар-источнике. Итак, повесьте свои уши на гвоздь внимания и слушайте!

Здесь тебе, благосклонный читатель, придется терпеливо выслушать некую историю, стоящую особняком, как будто не имеющую прямой связи с теми событиями, о которых я взялся тебе рассказать. Но как нередко бывает, что якобы неверная дорога вдруг приводит тебя к цели, так и этот побочный эпизод, быть может, введет нас в самую суть основного повествования. Итак, слушай, мой читатель, удивительную историю.

О короле Офиохе и королеве Лирис

В давние-предавние времена, точнее сказать, во времена, следовавшие сразу за первобытными, как среда первой недели великого поста следует за вторником масленицы, страной Урдар-сад правил молодой король Офиох. Не знаю, с достаточной ли географической точностью описал эту страну немец Бюшинг, знаю только, — в этом меняя тысячу раз уверял волшебник Руффиамонте, — что она была одной из благодатнейших стран, какие когда-либо существовали и будут существовать впредь. Ее луга изобиловали столь сочными травами и клевером, что ни одна скотина, любившая много и вкусно поесть, не пожелала бы расстаться со своим любезным отечеством. В ее

необозримых лесах росли редчайшие деревья и цветы, во множестве водилась великолепная дичь, а воздух был напоен такими сладостными ароматами, что утренний и вечерний ветерок не могли досыта ими насладиться. Масла, вина и плодов всякого рода было там превеликое множество. Серебристо-светлые воды протекали по всей стране; горы рождали золото и серебро и, как истинно богатые люди, были скромно одеты в незаметный темно-серый цвет. И тот, кто захотел бы чуть потрудиться, мог извлечь из песка прекраснейшие драгоценные камни и при желании употребить их как запонки для сорочки или жилетные пуговицы. Дома в столице были из мрамора и алебастра, а если в стране не знали городов,строенных из кирпича, то это вызывалось недостатком культуры, в силу чего люди тогда не понимали, насколько приятнее сидеть в кресле под защитой крепких стен, чем обитать у журчащего ручья, в убогой хижине, вокруг которой шумят деревья и кусты, и подвергаться опасности, что какое-нибудь бесстыжее дерево свесит свою листву в окно и непрошеным гостем вмешается в разговор, а выющийся виноград и плющ станут корчить из себя обойщика. Если к тому добавить, что жители страны Урдар-сад были отменными патриотами и короля, хотя никогда в глаза его не видели, любили превыше всякой меры и кричали: «Да здравствует!» — не только в день его рождения, но и в другие дни, то король Офиох был, вероятно, счастливейшим монархом на земле. И оно на самом деле так было бы, если бы не только он, но и очень многие, можно сказать, мудрейшие в стране, не были одержимы какой-то странной печалью, отравлявшей им всякую радость, невзирая на все окружающее великолепие. Король Офиох был рассудительным юношей с глубокими взглядами и светлым разумом, и даже обладал поэтическим чувством. Это могло бы показаться невероятным и неподобающим, если бы не оправдывалось той эпохой, в какую он жил.

Быть может, в душе короля Офиоха еще жили отзвуки тех давних времен высочайшей радости, когда природа лелеяла и пестовала человека, как свое любимейшее дитя, наделив его даром непосредственного видения всего существующего, а следовательно — пониманием высшего идеала и чистейшей гармонии. Ибо ему часто казалось, будто в таинственном шелесте леса, в шуме кустов и ручейков он слышит милые голоса, а из золотистых облаков к нему простирались чьи-то светлые руки, словно хотели его обнять, и тогда грудь его ширилась от какой-то жгучей сладостной тоски. Но тут все рушилось, обратившись в беспорядочную груду обломков; ледяными крылами овеявший его темный, страшный демон, разлучил с матерью, и король Офиох видел, как она в гневе покидает его, беспомощного. Голоса дальних гор и лесов, прежде будившие в нем страстную тоску и сладостное воспоминание о былой радости, заглушались злорадным смехом этого темного демона. И палящий жар его язвительной насмешки рождал в душе короля Офиоха мучительную иллюзию, будто голос демона — это голос разгневанной матери, которая злобно жаждет погубить свое негодное дитя.

Как уже было сказано, многие в стране понимали печаль короля Офиоха и, понимая, сами ею заразились. Но большинство ее не понимало, — прежде всего ни в какой мере не понимал государственный совет, который, к счастью для страны, оставался здоровым.

И вот, будучи в таком здоровом состоянии, государственный совет пришел к выводу, что излечить короля Офиоха может только одно — красивая, непременно веселая, жизнерадостная супруга. Выбор пал на принцессу Лирис, дочь соседнего короля. Принцесса Лирис действительно была так хороша собой, как только может быть хороша королевская дочь. Однако все, что ее окружало, что она видела и испытывала, не оставляло в ее душе никакого малейшего следа, и потому она вечно смеялась; но как в стране Гирдар-сад — земле ее отца — не могли понять причины ее смеха, так в стране Урдар-сад не понимали причины скорби короля Офиоха: по одному этому было ясно, что эти царственные души созданы друг для друга. Единственным удовольствием принцессы Лирис, искренне ее тешившим, было вязание филе в окружении своих придворных дам, которым тоже приходилось вязать филе. Король же Офиох, видимо, находил удовольствие лишь в том, чтобы в полном одиночестве охотиться на лесного зверя. Он нимало не возражал против избранной для него супруги, ибо смотрел на сей брак как на безразличное ему государственное дело, выполнение коего предоставил своим министрам, горячо за него взявшимся.

Вскоре бракосочетание было отпраздновано со всей возможной пышностью. Все прошло счастливо и благополучно, не считая маленькой неприятности, случившейся с придворным поэтом: король Офиох бросил ему в голову сочиненную им свадебную канту, и от страха и гнева пинт сразу лишился рассудка, вообразив, что у него поэтическая душа, что пометает ему теперь заниматься поэзией и сделает непригодным для дальнейшей службы в звании придворного поэта.

Протекали недели, месяцы, но никакой перемены в душевном состоянии короля Офиоха не замечалось. Министрам хохотунья короля сильно пришлась по душе, и они все еще успокаивали народ и самих себя, твердя, что все образуется.

Но все оставалось по-прежнему, король Офиох с каждым днем становился Печальнее и угрюмее, и, что было хуже

всего, в его душе зародилось глубокое отвращение к вечно смеющейся королеве, чего та, казалось, совсем не замечала, да и нельзя было сказать, замечает ли она вообще что-либо, кроме своего филе.

Однажды, охаясь, король Офиох очутился в мрачной, дремучей лесной чаще, где, вздымаясь к небу, словно вырастая из огромной скалы, высилась башня из черного камня, древняя, как само мироздание. В вершинах деревьев слышался глухой шум, а из глубоких расселин скалы ему отвечали жалобные голоса, полные душераздирающей печали. Это страшное место вызвало в душе короля Офиоха странное волнение. Ему вдруг почудилось, будто в этих мучительных звуках жесточайшей боли светится для него искра надежды на примирение с матерью; ему слышалась в них уже не злобная насмешка, нет, а трогательная жалоба ее на свое утраченное, непослушное дитя, и жалоба эта несла ему твердое упование, что мать не вечно будет гневаться.

В ту минуту, как король Офиох в глубоком забытьи стоял там, в небо шумно взмыл орел, паря над вышкой башни. Король невольно схватился за лук и пустил в него стрелу. Но, вместо того чтобы сразить орла, стрела вонзилась в грудь старого, почтенного человека, которого король Офиох только теперь заприметил на вышке башни. Ужас охватил его, когда он вспомнил, что эта башня служила местом наблюдения звезд; на нее (как гласило предание), в夜里, полные тайн, всходили древние короли этой страны (причастные тайнам), посвященные посредники между людьми и Владычицей всего сущего, дабы возвестить народу волю и слова Всемогущей. Он понял, что находится в том самом месте, которого все тщательно избегали, ибо, как гласило это предание, на вышке башни стоит старый маг Гермод, погруженный в тысячелетний сон, и если его разбудить, забродят, взволнуются все стихии, и в борьбе между ними все на земле неизбежно погибнет.

Полный горя, король Офиох чуть не упал, но его мягко поддержала чья-то рука. Перед ним стоял волшебник Гермод, держа в руке стрелу, пронзившую ему грудь, и с доброй улыбкой, смягчившей его строгое, величавое лицо, сказал:

— Ты пробудил меня от долгого, вещего сна, король Офиох! Прими за то мою благодарность! Это случилось вовремя. Настала пора идти мне в Атлантиду и получить из рук великой, могучей Владычицы обещанный мне ею в знак примирения дар, который лишит губительного жала скорбь, раздирающую твою душу, король Офиох. Мысль разрушила представление, но из хрустальной призмы, в которую, борясь и сочетаясь, слились воедино огненный поток и пагубный яд, воссияет, вновь родившись, представление — зародыш самой мысли! Живи с миром, король Офиох! Через тринадцать месяцев, повторенных тринадцать раз, ты увидишь меня вновь; я принесу тебе бесценный дар примиренной матери, он обратит твою печаль в величайшую радость и растопит ледяные стены темницы, где злейший из демонов держит в заточении душу твоей супруги Лирис! Живи с миром, король Офиох!

С этими загадочными словами старый маг покинул короля и пропал в чаще леса.

Если до этого король Офиох был печален и задумчив, то теперь его печаль и задумчивость стократно возросли. Крепко запали в его душу слова старого Гермода. Он повторил их придворному астрологу, чтоб тот разъяснил ему их темный смысл. Но, как заявил придворный астролог, эти слова лишены всякого смысла, ибо никакой хрустальной призмы нет и не было, и каждому аптекарю известно, что она во всяком случае не могла возникнуть из огненного потока и губительного яда. А то, что говорится дальше в путаных речах Гермода насчет мысли и вновь родившегося представления, уже потому не подлежит толкованию, что никакой уважающий себя астролог или философ с мало-мальски приличным образованием не станет разбираться в бессмысленном языке того грубого века, коему принадлежит маг Гермод. Король Офиох не только остался крайне недоволен этой отговоркой, но и грубо напустился на астролога; хорошо еще, что под руками у него не случилось ничего похожего на стихию злосчастного поэта, чтобы запустить ему в голову. Руффиамонте утверждает — хотя в официальной хронике об этом ничего не сказано, — что из народного предания, бытовавшего в Урдар-саде, известно, будто король Офиох обозвал его... ослом. Но загадочные слова мага Гермода не шли у молодого, вдумчивого короля из головы, и в конце концов он решил, чего б ему это ни стоило, самому доискаться их смысла. Для этого он велел золотыми буквами вырезать на черной мраморной доске слова: «Мысль разрушает представление» — и все остальные, что изрек волшебник Гермод, и вделать эту доску в стену одной из дворцовых зал, мрачной и уединенной. Он подолгу просиживал на мягком ложе перед этой доской и, глядя на нее, погружался в глубокие размышления.

Однажды королева Лирис случайно забрела в залу, где король Офиох сидел перед надписью. Она, по своему обыкновению, так громко смеялась, что стены дрожали, но король, видимо, не заметил присутствия своей дорогой веселой супруги и упорно продолжал смотреть на черную мраморную доску. Наконец королева тоже устремила на нее свой взгляд. Но едва она прочла таинственные слова, как смех ее оборвался, и она безмолвно опустилась на мягкое сиденье рядом с королем Офиохом. Долго, долго сидели они, неподвижно уставившись на надпись, потом стали зевать все чаще, чаще и наконец смыкли глаза, погрузившись в такой глубокий, смерти

подобный сон, что никакие силы человеческие не могли их разбудить. Их сочли бы мертвыми и со всеми принятными в стране церемониями перенесли в королевскую усыпальницу, если бы легкое дыхание, бьющееся пульс и свежий цвет лица не служили безошибочными признаками, что они еще живы. А так как они еще не успели обзавестись потомством, то государственный совет решил править страной вместо спящего короля и так ловко это обставил, что никто о летаргии короля не подозревал.

Тринадцать месяцев, повторенных тринадцать раз, протекли с того дня, как у короля Офиоха произошел такой важный разговор с магом Гермодом, и тут жителям Урдар-сада представилось столь великолепное зрелище, какого они никогда не видели.

Великий маг Гермод прилетел на огненном облаке, окруженный духами обоего пола всех стихий, и под таинственные аккорды музыки, в которых, казалось, слилось все благозвучие природы, опустился на пестрый ковер луга, затканный яркими, душистыми цветами. Над его головой парила звезда такого ослепительного блеска, что ничьи глаза не могли его выдержать. Это и была не звезда, а сверкающая хрустальная призма; едва маг высоко поднял ее в воздух, как она растеклась блестящими каплями и ушла в землю, но тут же с веселым шумом забила чудесным серебристым источником.

Теперь все вокруг мага пришло в движение. Духи земли, спустившись в глубины ее недр, выбрасывали оттуда блестящие металлические цветы; духи огня и воды взметнулись, заколыхались мощными фонтанами своих стихий, а духи воздуха в шумном беспорядке носились друг за другом, словно сражались в веселом поединке. Волшебник снова поднялся в воздух и широко раскинул свой плащ; все окуналось густой дымкой душистых испарений, и когда они рассеялись, на том месте, где сражались духи воздуха, образовалась прекрасная, светлая, как небо, зеркальная гладь огромного озера в кайме из сверкающих камней, роскошных трав и цветов, а посреди весело бил ключ и в шаловливом задоре гонял и кружил кудрявые волны.

В то самое мгновение, как таинственная призма мага Гермода разлилась в озеро, королевская чета очнулась от своего долгого, зачарованного сна. Оба — король Офиох и королева Лирис — мигом поспешили туда, влекомые неодолимой силой. Они первыми заглянули в воду. И когда увидели в его бездонной глубине опрокинутое отражение сияющего голубого неба, кустов, деревьев, всю природу и самих себя, им показалось, что с их глаз спала темная пелена и им открылся новый, дивный мир, полный жизни и радости: с познанием этого мира в душах зажегся такой восторг, какого они никогда еще не изведывали. Они долго всматривались в это озеро, затем поднялись, поглядели друг на друга и... засмеялись, если можно назвать смехом физическое выражение сердечной полноты так же, как торжества победы душевных сил. Если бы даже то просветление, какое выражалось сейчас лицо королевы Лирис, только теперь придав ее прекрасным чертам подлинную жизнь и небесное очарование, не говорило о полной духовной перемене, то всякий бы ее в ней заметил уже по тому, как она смеялась. Ибо, как небо от земли, отличался ее теперешний смех от того громкого, бессмысленного хохота, которым она прежде так терзала короля. Недаром умные люди говорили, что это смеется не она, а другое, скрытое в ней, непостижимое существо. Так же изменил смех и короля Офиоха. И, засмеявшись столь необычно, оба они в один голос воскликнули:

— О, мы были на чужбине, пустынной, негостеприимной, во власти тяжелых снов и проснулись на родине. Теперь мы узнаем себя, мы больше уже не осиротельные дети! — И они упали друг другу в объятия в порыве самой горячей, искренней любви.

Пока длилось их объятие, все, кто мог притиснуться вперед, посмотрелись в воду; те, что были заражены скорбью короля, взглянув в водную гладь озера, развеселились; а те, что и раньше были веселы, такими и остались. Многие врачи заявили, будто это самая обыкновенная вода, без малейшей примеси минеральных солей, равно как некоторые философы решительно советовали не смотреться в эту воду, ибо у человека, увидевшего себя и мир опрокинутым, легко может закружиться голова. Нашлось даже несколько людей из ученейшего сословия, так те и вовсе уверяли, будто никакого Урдар-источника не существует — Урдар-источником окрестили король и народ дивную воду, возникшую из таинственной призмы Гермода. Король Офиох и королева Лирис с самыми проникновенными словами сердечной благодарности упали к ногам великого мага, принесшего им исцеление и счастье. Он с учтивым достоинством поднял их, прижал к груди сперва королеву, потом короля, и так как принимал близко к сердцу благо страны, то пообещал им в тяжелые минуты их царствования показываться на вышке башни. Король Офиох тщился непременно поцеловать достойную руку Гермода, но тот не допустил этого и тут же поднялся в воздух: с высоты донеслись к нему подобно колокольному набату слова, произнесенные его мощным голосом:

— Мысль разрушает представление, и человек, оторванный от материнской груди, бродит бесприютный, в вечных

колебаниях и заблуждениях, слепой, глухой, пока, вглядевшись в отражение собственной мысли, не осознает, что она существует и что в той глубочайшей и богатейшей залежи, которую открыла перед человеком его царственная мать-природа, он полновластный суверен, хоть и должен повиноваться ей как вассал.

На этом кончается история короля Офиона и королевы Лирис.

Челионати умолк, молодые люди тоже сидели безмолвные, погрузившись в раздумье, ибо сказка старого шарлатана оказалась совсем не такой, как они ожидали.

— Маэстро Челионати, — прервал наконец молчание Франц Рейнгольд. — От вашей сказки веет Эддой-Волюспой, индийскими Ведами и невесть какими еще мистическими книгами. Но если я вас правильно понял, то источник Урдар, осчастлививший жителей той страны, есть не что иное, как то, что мы, немцы, называем юмором, — чудесная способность мысли путем глубочайшего созерцания природы создавать свой двойник — иронию, пошальным трюкам которого мы узнаем свои собственные и — да будет мне разрешено воспользоваться столь дерзким словом, — шальные трюки всего сущего на земле, — и тем забавляемся. Однако надо сказать, маэстро Челионати, своим мифом вы доказали, что прекрасно понимаете и другого рода шутки, не только те, которыми так богат ваш карнавал. Отныне я причисляю вас к незримой общине и преклоняю перед вами колена, как король Офиона перед волшебником Гермодом, ибо и вы великий чародей.

— Что вы там толкуете о сказках, о мифах? — возмутился Челионати. — Разве я не просто хотел рассказать и рассказал вам красивую историю из жизни моего друга Руффиамонте? Вам надо знать, что он, мой закадычный друг, и есть тот великий маг Гермод, который исцелил короля Офиона от его печали. Если вы мне не верите, спросите наконец его самого: он сейчас здесь и живет во дворце Пистоя.

Едва Челионати назвал дворец Пистоя, как все вспомнили о причудливом маскарадном шествии, которое несколько дней назад проследовало в этот дворец, и засыпали загадочного шарлатана градом вопросов: ведь он сам фантаст и должен быть осведомлен об этом фантастическом шествии лучше всякого другого!

— Нечего сомневаться, — смеясь, сказал Рейнгольд, — что тот благообразный стариочек, который в тюльпане занимался науками, и есть ваш закадычный друг — великий маг Гермод, он же чернокнижник Руффиамонте?

— Разумеется, любезный сынок, — спокойно ответил Челионати. — Однако не подоспело еще время говорить о тех, кто обитает во дворце Пистоя... Что ж!.. Если король Кофетуа женился на нищенке, то почему бы высокородной, могущественной принцессе Брамбилье не бегать за скверным актером?

Тут Челионати покинул кофейню. Никто даже отдаленно не понял, что он хотел сказать последними словами. Но спичками Челионати такое нередко случалось, и потому никто не стал ломать над этим голову. Пока все это происходило в «Caffe greco», Джильо в своем нелепом костюме носился взад и вперед по Корсо. Он не преминул, как повелела принцесса Брамбilla, напялить на голову шляпу, напоминавшую сильно задранными кверху полями несуразный шлем; не забыл он и вооружиться широким деревянным мечом. Вся душа бедняги была полна дамой его сердца. Но он сам не понимал, как случилось, что любовь принцессы вовсе ему не казалась чем-либо особенным, тем несбыточным счастьем, о каком можно лишь грезить во сне; в дерзком самомнении своем он твердо верил, что она непременно будет ему принадлежать, ибо иначе быть не может. И эта мысль зажгла его бешеной радостью, вылившейся в такие отчаянные телодвижения, от которых ему самому становилось страшно. Принцессы нигде не было видно, но Джильо не помня себя кричал:

— Принцесса!.. Голубка!.. Любимая! Я все же найду тебя! Я все же найду тебя! — и как безумный бегал, бегал за сотнями масок, пока какая-то танцующая пара не бросилась ему в глаза, приковав к себе все его внимание.

Курьезный малый, до мельчайшей подробности одетый так же, как Джильо, всем — ростом, манерой держаться и прочим — его второе «я», подыгрывая на гитаре, танцевал с изысканно одетой женщиной, бившей в кастаньеты. Если Джильо при виде своего двойника весь похолодел, то в сердце его вспыхнул пожар, едва он взглянул на танцовщицу девушки. Никогда еще, казалось ему, не видел он такой красоты, такой прелести. Каждое ее движение говорило об окрыляющей душу радости, о восторге, придававшем неизъяснимое очарование дикой исступленности ее танца.

Надо сказать, что именно в этом нелепом контрасте танцующей пары и заключался весь ее комизм: наряду с благоговейным восхищением перед красотой девушки каждого невольно охватывал безудержный смех, и это чувство, смешанное из столь противоречивых элементов, рождало в душе каждого такой же восторг, такую же

удивительную, невыразимую радость, какою была охвачена плясунья и ее уморительный партнер. Джильо почти уже догадался, кто может быть эта плясунья, но тут стоявшая рядом с ним маска сказала:

— Это принцесса Брамбилла танцует со своим возлюбленным, ассирийским принцем Корнельо Кьянпери.

Глава четвертая

О полезном изобретении сна и сновидений, и что по этому поводу думает Санчо Панса. — Как вюртембергский чиновник скатился с лестницы, а Джильо не мог постигнуть свое «я». — Риторический каминный экран, двойная галиматья и белый мавр. — Как старый князь Бастианелло ди Пистоя рассевал по Корсо апельсиновые зернышки и взял под защиту театральные маски. — Сведения о прославленной волшебнице Цирцее, вяжущей банты из лент, а также о красивой змеиной траве, произрастающей в счастливой Аркадии. — Как Джильо, впав в полное отчаяние, заколол себя кинжалом, после чего усился за стол, без стеснения наелся, а затем пожелал принцессе спокойной ночи.

Да не покажется тебе странным, дорогой читатель, если в произведении, которое хоть и называется капричио, однако в точности походит на сказку, происходит много странного, иллюзорного, что взращивает в себе, лелеет человеческий дух или, лучше сказать, если действие переносится в душу ее участников, ибо разве это не самое подходящее место действия? Может быть, и ты, мой читатель, тоже того мнения, что человеческая душа — это самая дивная на свете сказка? Какой прекрасный мир заключен в нашей груди! Никакая вселенная его не ограничивает, сокровища его превосходят неизведанные богатства всего здимого мира! До чего мертвой, нищенской, слепой, как у крота, была бы наша жизнь, не надели мировой дух нас, наемников природы, неистощимой алмазной россыпью души, из которой нам светит в сиянии и в блеске удивительное царство, ставшее нашим достоянием. Высоко одарены те, что сознают в себе это богатство! Еще более одаренными и счастливыми должно почитать тех, кто не только умеет разглядеть в себе эту залежь драгоценных камней, но извлечь их наружу и ограничить, чтобы они заиграли дивным огнем! Так вот... Санчо говорил: да прославит господь тех, кто изобрел сон, — преумный, надо полагать, был малый! Но еще большей славы заслужил тот, кто изобрел сновидение. Не то сновидение, которое посещает нас, когда мы покоимся под мягким одеялом, нет! а то сновидение, которое мы проносим через всю жизнь, которое зачастую принимает на свои крылья все бремя земных забот, пред которым стихает вся горькая боль, вся безутешная скорбь обманутых надежд, ибо оно само — небесный луч, зажегшийся в нашей груди, — сулит нам вместе с беспредельной страстной тоской исполнение мечты...

Эти мысли пришли в голову тому, кто взялся сочинить для тебя, любимый читатель, странное капричио о принцессе Брамбилле в ту самую минуту, как он уже собирался описать удивительное состояние, в какое пришел переодетый Джильо Фава, услышав сказанные шепотом слова: «Это принцесса Брамбilla танцует со своим возлюбленным, ассирийским принцем Корнельо Кьяппери!» Авторам редко удается не выдать читателю своих мыслей по поводу тех или иных перипетий в судьбе их героев. Они, пожалуй, слишком даже охотно берут на себя роль греческого хора в своей книге и выдают за размышления все то, что совсем не относится к делу, но может служить истории приятным украшением. Таким приятным украшением можно счесть и мысли, открывающие эту главу. Ибо для самой истории они действительно столь же мало нужны, как и для описания душевного состояния Джильо, которое вовсе не было столь уж странным и необычным, как можно бы подумать, судя по взятому автором разбегу. Короче говоря, едва Джильо услышал эти слова, как мигом вообразил себя ассирийским принцем, с которым танцует принцесса Брамбilla. Всякий дальний философ, у которого есть хоть на мизинец опыта, сумеет так легко это объяснить, что пятиклассники и те должны будут постигнуть, что такое причуды нашего духа. Упомянутый психолог не найдет ничего лучшего, как сослаться на вюртембергского чиновника, описанного в Маухардтовом руководстве по эмпирической психологии, который в пьяном виде скатился с лестницы и потом соболезновал сопровождавшему его писцу в том, что бедняга сильно ушибся. «Судя по тому, — скажет дальнеший этот психолог, — что мы слышали о Джильо Фаве, он испытывал состояние, аналогичное опьянению, своего рода душевное опьянение, вызванное некоторыми, раздражающими нервами, эксцентрическими представлениями о своем «я», а так как актеры сильно склонны к такого рода опьянению, то...» — и т. д. и т. д.

Итак, Джильо вообразил себя ассирийским принцем Корнельо Кьяппери, и если в этом не увидеть ничего особенного, то будет еще труднее объяснить, откуда в нем взялась никогда еще не испытанныя им веселость, которая как огнем зажгла все его существо. Сильней и сильней ударял он по струнам гитары, причудливей и разнозданней становились прыжки и движения его бешеного танца. Но его двойник стоял напротив, прыгая, кривляясь, как он, и размахивая в воздухе своим широким деревянным мечом... Брамбilla исчезла! «Ах! — подумал Джильо, — только мой двойник виноват в том, что я не вижу своей невесты-принцессы. Я не могу проникнуть сквозь мое собственное «я», а оно, проклятое, грозится убить меня своим опасным оружием. Но я засыплю его, затанцую насмерть, только тогда я стану самим собою и принцесса будет моей!»

Таковы были несколько смутные мысли Джильо, а между тем прыжки его делались все иступленнее, как вдруг его

двойник с такой силой ударили деревянным мечом по его гитаре, что она разлетелась на тысячу кусков, и Джильо, перекувырнувшись, тяжело грязнулся о землю. Оглушительный хохот толпы, окружавшей танцующих, вывел его из мечтаний. При падении у него слетели очки и маска, его узнали, и сотни голосов крикнули:

— Браво! Брависсимо, синьор Джильо!

Он вскочил на ноги и кинулся бежать, решив, что не подобает ему, трагическому актеру, давать публике комическое представление. Вернувшись домой, Джильо скинул свой нелепый наряд, завернулся в табарро и опять отправился на Корсо.

Он бродил там из стороны в сторону, пока наконец не очутился возле дворца Пистойя, где вдруг почувствовал, что кто-то сзади его обнял и прошептал: «Если меня не обманывают поступь и осанка, то это вы, мой дорогой синьор Джильо Фава?»

Джильо узнал аббата Антонио Кьяри; при виде аббата ему вспомнилась вся прежняя прекрасная жизнь, когда он играл трагических героев, а после спектакля, сняв котурны, украдкой поднимался по узкой, крутой лестнице к прелестной Джачинте. Аббат Кьяри (возможно, близкий предок пресловутого Кьяри, который позже вступил в борьбу с Гоцци и был вынужден сложить оружие) еще в ранней молодости тяжким трудом набил себе руку, наловчившись мастерить трагедии, грандиозные по замыслу, но по своей форме в высшей степени мягкие и приятные. Он всячески избегал преподносить публике ужас трагических событий, не смягчив, не сдобрив его обильно патокой красивых слов и фраз, отчего зрители без дрожи отвращения проглатывали это приторное месиво, не почувствовав горькой сущи. Даже адское пламя умел он умерить, заслонив его пропитанным маслом каминным экраном своей риторики, а в кипящие волны Ахерона лил розовую водицу мартеллианских стихов, дабы адская река текла плавно и нежно, превратившись в поэтический ручеек. Многим это приходится весьма по вкусу, поэтому не удивительно, что Антонио Кьяри был популярным поэтом. А если еще добавить, что он обладал особым умением писать так называемые благодарные роли, то аббат-рифмоплет, естественно, был также кумиром актеров. Некий французский поэт умно сказал, что существует два вида галимати: одной не понимает ни читатель, ни зритель, а второй не понимает даже и сам автор — поэт или прозаик. Из этой-то последней, более высокого сорта, драматургической галимати состоит большинство так называемых благодарных ролей. Речи, полные благозвучных слов, непонятных ни зрителю, ни актеру и непонятных даже самому сочинителю, вызывают самые бурные аплодисменты. Сочинять такую галиматию аббат Кьяри был превеликий мастер, так же как Джильо обладал особым даром ее произносить, корча при этом такие физиономии и принимая столь невообразимые позы, что зрители по одному уж этому вскрикивали в трагическом восторге. Оттого-то Джильо и Кьяри находились в самых приятельских взаимоотношениях и почитали друг друга свыше всякой меры — иначе оно и быть не могло.

— Хорошо, что я вас наконец повстречал, синьор Джильо! — сказал аббат. — Теперь я от вас самого узнаю, насколько верны нелепые слухи и разговоры о вашем житье-бытье, которые до меня иногда доходят. Скажите, это правда, что с вами дурно обошлись? Что этот осел импресарио прогнал вас из своего театра, принимая за безумие тот восторг, в какой приводили вас мои трагедии, и еще потому, что вы не хотели читать ничьих стихов, кроме моих? Ужасно... Вы знаете, этот сумасшедший отказался от трагедии и не ставит ничего, кроме дурацких пантомим масок, которые мне до смерти опротивели. Подумайте, этот тупейший из импресарио не желает больше принимать ни одной моей трагедии, хотя — честным словом заверяю вас в этом — в моих последних произведениях мне удалось показать итальянцам, что такая настоящая трагедия. Что касается древних трагиков, я имею в виду Эсхила, Софокла и прочих, вы, вероятно, о них слышали, то, конечно, их грубая резкая манера очень неэстетична и ее можно оправдать только тем зачаточным состоянием, в каком тогда находилось искусство; но для нас она совершенно неприемлема. «Софонисба» Трессино и «Каначе» Сперони по невежеству провозглашены великими шедеврами нашей старинной поэзии, но о них не стоит и говорить, коль скоро существуют мои, ибо только они могут служить образцом силы и пленительной мощи истинного трагизма, облеченного в слово. К несчастью, ни один театр не хочет принимать мои пьесы с той поры, как этот злодей, ваш прежний импресарио, свернулся на другую дорожку. Но увидите: *Trotto d'asino dura poco*

[9]

. Ваш импресарио скоро останется с носом вместе со своим Арлекином, Панталоне, Бригеллой и как они еще там прозываются, эти гнусные ублюдки низменного зубоскальства, а тогда... Поистине, синьор Джильо, ваш уход из театра был для меня ударом кинжала в сердце, ибо ни один актер не сумел столь глубоко постигнуть мои оригинальные, необычайные мысли, как вы... Но давайте уйдем из этой ужасной сутолоки, я просто оглох от нее! Отправимся ко мне на квартиру. Там я прочту вам свою последнюю трагедию, от которой вы придетете в такой бешеный восторг, какого никогда не знали. Я озаглавил ее «Белый мавр». Пусть не удивляет вас такое странное

название. Оно полностью соответствует необыкновенному, неслыханному содержанию пьесы!

С каждым словом болтливого аббата Джильо чувствовал, как он все больше освобождается от душевного напряжения, в котором находился. В нем вновь взыграла душа, когда он представил себе, как опять выступит в роли трагического героя, декламируя непревзойденные стихи аббата Антонио Кьяри. Он настойчиво расспрашивал аббата, есть ли в «Белом мавре» хорошая, выигрышная роль, которую он мог бы сыграть.

— Разве в моих трагедиях есть хоть одна невыигрышная роль? — обидчиво спросил аббат. — Какое несчастье, что все роли в моих пьесах, вплоть до самых маленьких, не могут быть сыграны одними великими актерами. В «Белом мавре» есть раб, он появляется в самом начале катастрофы и произносит следующие слова:

Ah! giorno di dolore! Crudel inganno!

Ah! Signore infelice, la tua morte

Mi fa piangere e subito partire!

[10]

Тут он действительно быстро уходит и больше не появляется. Признаю, что роль эта очень мала по объему, но боже мой, синьор Джильо, лучшему актеру понадобилась бы чуть не целая жизнь, чтобы произнести эти стихи в том духе, в каком я их задумал, в каком сочинил, и тогда они не смогут не очаровать публику, не привести ее в безумный восторг.

Так, беседуя, они добрались до улицы Бабуино, где проживал аббат. Крутая лестница, по которой они поднялись, так живо напомнила Джильо о чердаке, что он второй раз нынче подумал о Джачинте и в глубине души предпочел бы встретиться с ней, чем с аббатовым «Белым мавром».

Аббат зажег две свечи, подвинул к столу кресло для Джильо, достал довольно пухлую рукопись, уселся против него и очень торжественно начал:

— «Белый Мавр», трагедия, и т. д. и т. д.

Первая сцена начиналась длинным монологом одного из главных персонажей пьесы, который сперва поговорил о погоде, о надеждах на предстоящий обильный урожай винограда, после чего высказал свои соображения о недопустимости братоубийства.

Джильо сам не понимал, почему стихи аббата, которые он раньше находил замечательными, показались ему сегодня такими пошлыми, глупыми и скучными. Да! Хотя аббат все читал с преувеличенным пафосом громовым голосом, от которого сотрясались стены, Джильо впал в мечтательное состояние, и ему странным образом вспомнилось все, что с ним произошло с того дня, как дворец Пистойя поглотил фантастическое маскарадное шествие. Полностью отдавшись своим мыслям, он глубже уgnездился в кресле, скрестил руки, все ниже, ниже опуская голову.

Сильный удар по плечу разом вывел Джильо из задумчивости.

— Как? — кричал обозленный аббат — это он, вскочив, нанес ему удар. — Вы, если не ошибаюсь, спите? Вам не угодно слушать моего «Белого мавра»? Ага, теперь мне все понятно. Ваш импресарио был прав, когда вас выгнал, ибо вы жалкое ничтожество, утратившее способность чувствовать и понимать высшую поэзию. Знаете ли вы, что судьба ваша решена, что никогда вам больше не подняться из болота, в котором вы погрязли? Вы уснули над моим «Белым мавром»! Это преступление, его ничем не искупить; это грех против святого духа. Убирайтесь ко всем чертям!

Джильо сильно испугался неистового гнева аббата. Он стал со смиренiem и скорбью уверять его, что надо обладать сильной, твердой душой, чтобы понимать его трагедии, а у него, Джильо, она вся разбита и раздавлена на событиями не только странными, призрачными, но и злосчастными, в какие он последние дни вовлечен.

— Верьте мне, господин аббат, — говорил Джильо, — надо мной тяготеет таинственный рок! Я похожу на арфу, не способную ни воспринять, ни издать ни единого мелодичного звука. Вам показалось, что я заснул, слушая ваши великолепные стихи. И правда, на меня напала такая болезненная, неодолимая сонливость, что даже самые

сильные речи вашего несравненного белого мавра показались мне тусклыми и скучными.

— Вы что, взбесились? — вскричал аббат.

— Не гневайтесь так на меня! — продолжал Джильо. — Я чту вас как величайшего мастера, вам обязан всем своим искусством и теперь ищу у вас совета и помощи. Позвольте рассказать обо всем, что со мной случилось, и поддержите меня в час моего самого тяжкого горя! Помогите мне, чтоб я, восстав в солнечном блеске славы, в которой воссияет ваш «Белый мавр», излечился от злейшей из всех лихорадок!

Эти слова смягчили аббата, и он разрешил Джильо рассказать ему все о сумасшедшем Челионати, принцессе Брамбилле и прочем.

Когда Джильо кончил, аббат на несколько мгновений погрузился в глубокомысленное молчание, потом важным, торжественным тоном изрек:

— Из всего поведанного тобой, мой сын Джильо, я вправе заключить, что ты не виноват ни в чем. Я прощаю тебя, и, дабы ты видел, сколь безграничны мои великодушие и сердечная доброта, через меня тебе выпадет величайшее счастье, какое только может встретиться в жизни! Отдаю тебе роль «Белого мавра», и когда ты ее сыграешь, жгучая тоска души твоей по самому высокому и великому будет утолена. Но, о сын мой Джильо, ты попал в сети к дьяволу! Адская интрига ведется против всего возвышенного в поэзии, против моих трагедий, против меня, и тобой хотят воспользоваться как убийственным орудием. Тебе никогда не доводилось слышать о старом князе Бастианелло ди Пистойя? Он жил в том старом дворце, куда так быстро юркнули трусливые маски, и несколько лет назад бесследно исчез из Рима. Так вот, этот старый князь Бастианелло был самым вздорным чудаком: во всем, что он говорил, что делал, было много нелепого. Так, например, он уверял, будто происходит из королевского рода какой-то далекой, неведомой страны, что ему лет триста — четыреста от роду, хотя я лично знаю священника, крестившего его здесь, в Риме. Он часто рассказывал о каких-то таинственных посещениях, и правда, в его доме не раз можно было видеть самые фантастические фигуры, которые столь же внезапно исчезали, как появлялись, — князь называл их членами своей семьи. Но разве так уже трудно переодеться попричудливее своих слуг и служанок? Ведь ими-то и были те необычайные личности, на которые люди глазели, разинув рты, принимая князя за необыкновенного человека, чуть не за колдуна. Глупостей он вытворял превеликое множество. Например, известно, что однажды во время карнавала он сеял на Корсо апельсиновые зернышки, из которых, к великому восторгу толпы, вырастали крошечные, прехорошенькие Пульчинеллы, а он уверял, что это самые сладкие для римлян плоды. Но что мне вас утомлять всеми бессмысленными глупостями, какие говорил князь, я лучше вам расскажу о том, что делает его опаснейшим человеком. Можете себе представить, что проклятый старик задался целью убить хороший вкус в литературе и искусстве? И что в театре он взял под защиту маски, отводя им там главное место, признавая право на существование только за древнейшей трагедией, упоминал даже о такого рода трагедии, измысливать которую может только горячечный мозг. В сущности, я никогда толком не понимал, чего он хочет, но по его утверждениям получалось, что высочайший трагизм должен достигаться чуть ли не путем особого вида шутки и что... нет, это невероятно, это почти невозможно выговорить, — что *мои* трагедии, понимаете, мои трагедии, по его мнению, необычайно забавны, правда на особый лад, ибо трагический пафос в них сам себя пародирует. Но что мне его глупые мысли и мнения! Если бы князь только этим довольствовался, но ведь в действительности, в страшной действительности, его ненависть обратилась на меня и мои трагедии. Еще до вашего появления в Риме со мной произошло нечто ужасное. Шла лучшая из моих трагедий, не считая «Белого мавра». «*Lo spettro fraterno vendicato*»

[11]

. Актеры превзошли самих себя: никогда еще они так не постигали внутреннего смысла моего текста, никогда не были в своих движениях и позах так истинно трагичны. Пользуюсь случаем, синьор Джильо, сказать вам, что ваши жесты, особенно позы, еще далеки от совершенства. Синьор Цекьелли, мой тогдашний трагик, умел, широко расставив ноги, твердо упервшись ими в пол и воздев кверху руки, так вращать корпусом, что лицо его попеременно смотрело то вперед, то в спину; своими движениями и мимикой он являл взору зрителей двуликий бога Януса. Это всегда производит самое ошеломляющее действие. И должно быть выполнено всякий раз, как у меня стоит ремарка: «Начинает приходить в отчаяние!» Зарубите это себе на носу, сын мой, и научитесь отчаяваться так, как синьор Цекьелли. Но возвращаюсь к своему «*spettro fraterno*». Лучшего спектакля я в жизни не видел, и все же публика при каждом слове моего героя разражалась неистовым хохотом. Но когда я увидел вложе князя ди Пистойя, который первым начинал смеяться, словно подавая знак остальным, мне стало ясно, что это он один, бог знает какими дьявольскими уловками, навлек на меня столь ужасную беду. Как я радовался, когда князь исчез из Рима! Но его дух продолжает жить в старом проклятом шарлатане, в этом сумасшедшем

Челионати, который, хотя и тщетно, пытался в театрах марионеток злостно осмеять мои трагедии. Да и князь Бастианелло, видимо, опять шутит свои шутки в Риме; на это указывает диковинное шествие масок, которое вошло в его дворец. Челионати преследует вас, чтобы повредить мне. Ему уже удалось убрать вас с подмостков и уничтожить трагедию в театре вашего импресарио. Вас хотят полностью отвратить от искусства, набивая голову всяческой чепухой, фантастическими бреднями о принцессах, причудливых видениях и тому подобном. Послушайтесь моего совета, синьор Джильо, сидите дома, пейте больше холодной воды и поменьше вина и как можно усерднее штудируйте моего «Белого мавра», которого я дам вам с собой. Только в нем вы почерпнете утешение и покой, а засим счастье, честь и славу. Будьте здоровы, синьор Джильо.

На другое утро Джильо собирался последовать совету аббата и засесть за чтение его замечательной трагедии «Белый мавр». Но дело не клеилось: буквы на каждой странице расплывались у него перед глазами в образ прелестной, милой Джачинты Соарди.

— Нет! — воскликнул он, потеряв наконец терпение. — Нет, я больше не выдержу, я должен пойти к ней, к моей красавице. Я знаю, она все еще меня любит, не может не любить и, несмотря на свою сморфию, не сумеет этого скрыть, когда опять меня увидит. И тогда я совершенно избавлюсь от лихорадки, которую проклятый колдун напустил на меня, и, как феникс, восстану из безумного хаоса сновидений и фантазий, полностью возрожденный в роли белого мавра. Будь благословен, аббат Кьяри, это ты наставил меня на правильный путь!

Джильо тут же наилучшим образом принарядился, чтобы отправиться в дом маэстро Бескапи, где думал встретить свою милую. Но, собираясь уже перешагнуть порог, он почувствовал на себе действие «Белого мавра», которого пробовал читать. Трагический пафос, словно лихорадочный озноб, напал на него.

— Что, если, — воскликнул он, выставив правую ногу, откинувшись всем телом назад и простерши перед собой обе руки, словно оборонялся от призрака. — Что, если она меня больше не любит? Если, обольщенная колдовскими призраками темной преисподней, опьяненная напитком забвения, даруемым нам Летой, она перестала думать обо мне, действительно забыла меня? Что, если какой-нибудь соперник... Ужасная мысль, рожденная черным Тартаром из смертоносной бездны! О отчаяние! Убийство и смерть! Ко мне, желанный друг, который в жарких потоках алои крови искупает всякий позор, суля покой и утешение... и месть!

Последние слова Джильо произнес с таким рычанием, что они гулко отдались по всему дому, затем схватили лежавший на столе блестящий кинжал и сунул его в карман. Но это был всего лишь бутафорский кинжал.

Маэстро Бескапи немало удивился, когда Джильо спросил его про Джачинту. Он заявил, что впервые слышит, будто она когда-либо жила в его доме, и все уверения Джильо, что всего несколько дней назад он сам видел ее здесь на балконе, говорил с ней, ни к чему не привели. Больше того, Бескапи оборвал этот разговор и, улыбаясь, спросил, помогло ли Джильо давешнее кровопускание. Услыхав про кровопускание, Джильо сломя голову кинулся бежать. Добрившись до площади Испании, он увидел впереди себя старуху, которая с трудом несла закрытую корзину. Джильо узнал в ней старую Беатриче.

«Ага! — прошептал он, — ты будешь моей путеводной звездой, я пойду за тобой!» Каково же было его удивление, когда Беатриче, которая скорее кралась, чем шла, свернула в ту улицу, где прежде жила Джачинта. Остановившись у двери дома синьора Паскуале, она поставила корзину наземь и в эту минуту заметила Джильо, шедшего за ней по пятам.

— А! — громко воскликнула она, — любезный господин бездельник снова появился? Хорош верный, возлюбленный, шляется по всем улицам и закоулкам, где ему вовсе не место, а свою милую совсем забросил в эти чудные, веселые дни карнавала! Ну-ка помогите мне втащить наверх тяжелую корзину, а потом сходите поглядите, не припасла ли для вас Джачинта несколько оплеух, чтобы вправить вам мозги.

Джильо осыпал старуху горчайшими упреками за ложь, за обман: разве не уверяла она, будто Джачинта сидит в тюрьме? В ответ старуха заявила, что слыхом о таком не слыхала, что Джильо это только померещилось: Джачинта ни разу не отлучалась из своей комнатки в доме синьора Паскуале, работая во время маскарада усерднее, чем когда-либо. Джильо тер лоб, дергал себя за нос, словно хотел убедиться, что не спит.

— Одно знаю: либо я сейчас сплю, либо спал все это время и мне грезился самый запутанный сон.

— В таком случае, — ответила старуха, — сделайте милость, поднимите эту корзину: по тому, как она станет давить вам спину, вы узнаете, спите вы или нет.

Джильо послушно взвалил на себя корзину и стал подниматься по крутой лестнице, волнуемый самыми

необычными чувствами.

— Что это у вас, черт возьми, в корзине? — спросил он шагавшую впереди старуху.

— Глупый вопрос, — ответила та. — Вам что, никогда не приходилось видеть, как я хожу на базар и покупаю провизию для моей Джачинтинеты? И потом, мы сегодня ждем гостей.

— Гостей? — удивленно протянул Джильо. Но в эту минуту они пришли. Старуха велела Джильо поставить корзину на пол и пойти в комнатку, где он застанет Джачинту.

Сердце Джильо билось в робком ожидании и сладостном трепете. Он тихо постучался и открыл дверь комнатки. Там, за столом, заваленным цветами, лентами, лоскутами и тому подобным, сидела Джачинта и прилежно работала.

— А, синьор Джильо! — воскликнула Джачинта, и глаза ее засветились. — Откуда вы вдруг появились? Я думала, вас давно нет в Риме.

Джильо нашел свою милую столь безмерно прекрасной, что растерялся и застыл на пороге, не в силах и слова сказать. Действительно, все ее существо было преисполнено особого очарования и прелести: на щеках играл яркий румянец и светившиеся, как мы говорили, глаза смотрели Джильо прямо в душу. Коротко говоря, Джачинта была в своем *beau jour*

[12]

. Хотя это французское выражение не в ходу, все же следует отметить, что в нем есть не только своя правота, но и своя особенность. Всякая милая барышня, не отличающаяся красотой, а то и просто некрасивая, побуждаемая внешними или внутренними причинами, должна живей обычного подумать: как я хороша! И она может быть уверена, что с этой радостной мыслью и приятным чувством в душе сам собой придет ее *beau jour*.

Наконец Джильо не помня себя стремительно ринулся к своей милой, бросился перед ней на колени и, патетически воскликнув: «О моя Джачинта! Жизнь моя!» — схватил ее за руки. Вдруг ему в пальц так глубоко вонзилась игла, что он подскочил от боли и с криком «черт! черт!» запрыгал по комнате. Джачинта звонко рассмеялась, затем спокойно сказала:

— Это вам, милый синьор Джильо, в наказание за ваше неприличное и несдержанное поведение. Все ж очень мило с вашей стороны, что вы навестили меня: скоро, быть может, вам уже нельзя будет так бесцеремонно видеться со мной. Я разрешаю вам остаться. Садитесь напротив и расскажите, что вы за это время поделывали, какие новые роли играете и обо всем остальном. Вы ведь знаете, что я люблю вас слушать, если вы не впадаете в свой отвратительный, плаксивый пафос, которым вас заразил синьор аббат Кьяри — да не лишит его господь за это вечного блаженства!

— Моя Джачинта, — сказал Джильо, страдая от любви и от укола иголки, — моя Джачинта, давай забудем все горести разлуки. Они снова вернулись к нам, сладостные, блаженные часы счастья и любви!

— Не пойму, — перебила его Джачинта, — что за глупости вы там болтаете! Какие горести разлуки? Когда б я и впрямь верила, будто вы со мной навеки расстаетесь, я нисколько бы не горевала. Если же вы называете блаженными те часы, когда вы всячески мне докучали, то не думаю, чтоб они когда-либо вернулись. Однако покажу вам откровенно, синьор Джильо, в вас есть нечто располагающее. Вы мне бывали иногда даже приятны, и потому я охотно разрешу вам впредь со мной видеться. Правда, обстоятельства препятствуют всякой короткости между нами и вынуждают несколько отдалиться друг от друга, что обяжет вас соблюдать в отношении меня некоторые церемонии...

— Джачинта! — воскликнул Джильо. — Что за странные речи!

— Ничего особенного я не говорю. Сидите спокойно, мой добрый Джильо! Кто знает, возможно, мы в последний раз так непринужденно с вами разговариваем. Однако на мою милость вы всегда можете рассчитывать, ибо, как я уже говорила, я никогда не лишу вас той благосклонности, какую питала к вам.

Вошла Беатриче, неся на тарелках отборные фрукты и зажав под мышкой солидную флягу с вином. Как видно, корзина была уже опорожнена. Сквозь открытую дверь Джильо заметил весело потрескивающий огонь очага и кухонный стол, заваленный всякой снедью.

— Джачинта, — ухмыляясь, проговорила Беатриче. — Чтобы хорошенъко уважить гостя нашей скромной трапезой, мне нужно еще немного денег.

— Возьми, старая, сколько нужно, — ответила Джачинта, протягивая Беатриче вязаный кошелек — сквозь его петли поблескивали новенькие дукаты. Джильо похолодел, узнав точный двойник кошелька, сейчас почти уже пустого, как он думал, подсунутого ему Челионати.

— Что за дьявольское наваждение! — вскрикнул он и, быстро вырвав из рук старухи кошелек, поднес его к самым глазам. Почти без чувств упал он на стул, когда прочел вышитые на кошельке слова: «Помни о своей мечте!»

— Ну-ну, синьор голодранец! — проворчала старуха, отбирая у Джильо кошелек, который тот держал в далеко откинутой руке. — Неужто от одного этого прекрасного зрелища вы так одурели? Оно вам, верно, в диковинку. А звон-то какой, послушайте! — Она потрясла кошельком так, что золото в нем зазвенело, и вышла из комнаты.

— Джачинта! — воскликнул Джильо, убитый горем и отчаянием. — Джачинта, какая страшная, ужасная тайна! Откройте ее! Откройте и изреките мне смерть.

— Вы все тот же, — ответила Джачинта, держа точеными пальчиками иголку против света и ловко вдевая в ее ушко серебряную нитку. — Вы все тот же; так привыкли от всего приходить в экстаз, что превратились в ходячую, нудную трагедию с невыносимо скучными ахами, охами и увы! Ничего страшного и ужасного в моих словах не было, и если вы будете вести себя прилично, а не кривляться как полоумный, я кое-что вам расскажу.

— Говорите же! Убейте меня! — сдавленным голосом прошептал Джильо.

— Помните, синьор Джильо, что вы мне однажды говорили о молодом чудо-актере? Вы назвали этого героя сцены ходячим любовным приключением, живым романом о двух ногах и бог знает кем вы еще его не называли. Теперь моя очередь сказать вам, что еще большим чудом следует назвать молоденькую модистку, которую небеса наделили стройным станом и приятным лицом, а особенно той внутренней волшебной силой, благодаря которой девушка только и обретает подлинную женственность. Такая-то любимица благодетельной природы, витающая в воздухе очаровательное приключение, крутая лесенка к ней наверх — это небесная лестница, ведущая в царство любовных, по-детски смелых снов. Она — олицетворение нежной тайны женского наряда, что завораживает вас, мужчин, своими чарами — то сверкающим блеском роскошных красок, то мягким сиянием лунных лучей, розоватым туманом или голубоватой дымкой вечернего воздуха, и, одурманенные страстью и желанием, вы приближаетесь к чудесной тайне. Вы видите могущественную фею среди ее орудий волшебства, и каждое кружевце, тронутое ее белыми пальчиками, превращается в любовные сети, каждый бант — в силки, в которые вы попадаетесь. В ее глазах отражается ваше восхитительное любовное безумие, узнает в них себя и радуется себе. Вы слышите, как ваши вздохи глубоко отдаются в груди очаровательницы, но мягкие, тихие, словно тоскующая нимфа. Эхо зовет из-за дальних волшебных гор своего возлюбленного. Тут безразличны ранг и сословие, знатному принцу ли или нищему актеру скромная светелка волшебницы Цирцеи одинаково кажется цветущей Аркадией, где он ищет прибежища от неприютной пустыни жизни. И если меж роскошных цветов в этой Аркадии растет немного змеиной травы, что за беда! Она из тех соблазнительных трав, что так дивно цветут и благоухают!

— О да! — прервал девушку Джильо. — И из ее цветка выползает крохотный гад, чье имя носит трава, и внезапно жалит своим язычком, острым, как швейная игла.

— Это случается всякий раз, когда чужой, которому не место в цветущей Аркадии, неуклюже сует туда свой нос.

— Хорошо сказано, прелестная Джачинта! — с досадой и злостью ответил Джильо. — Вообще, должен признаться, что с той поры, как мы с тобой виделись в последний раз, ты удивительно поумнела. Так философствуешь о себе, что я просто диву даюсь, и необычайно нравишься себе в роли волшебницы Цирцеи! А портной Бескапи не забывает снабжать прекрасную Аркадию твоей светелки всеми необходимыми орудиями волшебства!

— Возможно, — невозмутимо продолжала Джачинта, — со мной произойдет то же, что с тобой. Ведь и мне привиделись чудесные сны. Все же, милый Джильо, то, что я тебе говорила о хорошенъкой модистке, примися наполовину за шутку, за желание позабавиться, подразнить тебя. Тем более не отнеси этого на мой счет, что сегодня я, может быть, в последний раз склоняюсь над шитьем. Не пугайся, мой добрый Джильо, но легко может статься, что в последний день карнавала я сменю это жалкое платье на пурпуровую мантию, а табурет на трон.

— Небо и ад! — вскричал Джильо, порывисто вскочив и ударяя себя кулаком по лбу. — Небо и ад! Смерть и гибель! — значит, правда то, что нашептывал мне на ухо этот вероломный злодей! О, развернись предо мною, изрыгающая пламя бездна Орка! Взвейтесь, чернокрылые духи Ахерона!.. Довольно!

И Джильо начал читать монолог из какой-то трагедии аббата Кьяри, полный ужасного отчаяния. Джачинта, которой Джильо сотни раз читал этот монолог, помнила его весь до слова; не отрываясь от работы, она суфлировала своему отчаявшемуся возлюбленному, когда он местами запинался. Закончив, он вынул кинжал, вонзил его себе в грудь и с грохотом упал, затем встал, стряхнул с одежды пыль, вытер пот со лба и, улыбаясь, спросил:

— Сразу чувствуется мастер, верно, Джачинта?

— Несомненно, — спокойно, продолжая работать, ответила Джачинта. — Ты замечательно читал, мой добрый Джильо. А теперь пора, я думаю, сесть за ужин.

Тем временем старая Беатриче накрыла на стол, принесла несколько блюд, от которых шел соблазнительный запах, поставила таинственную флягу и сверкающие хрустальные стаканы. Как только Джильо это увидел, он вышел из себя.

— А! Гость... Принц!.. Каково мне! Боже мой, ведь я не играл комедии, я на самом деле впал в отчаяние; в полное, безумное отчаяние ввергла ты меня, вероломная изменница! Змея!.. Василиск!.. Крокодил! Мести жажду! — крикнул он и, подняв с пола бутафорский кинжал, стал им размахивать. Но Джачинта положила шитье на рабочий стол и, взяв Джильо под руку, сказала:

— Хватит дурачиться, мой добрый Джильо. Отдай свое смертоносное оружие старой Беатриче, пусть она нарежет из него зубочисток, и садись со мной за стол; ведь, в сущности, ты единственный гость, которого я жду.

Джильо разом успокоился, терпеливо позволил увести себя к столу и без стеснения принял участие в обещанном.

Джачинта спокойно и простодушно продолжала говорить об ожидающем ее счастье, не переставая заверять Джильо, что нисколько не возгордится и не забудет его лица; напротив, если он иногда издали ей покажется, она непременно узнает его и снабдит дукатами, чтобы у него не было недостатка в чулках розмаринового цвета и надушенных перчатках. В свою очередь и Джильо, выпив несколько стаканчиков вина, снова вспомнил всю чудесную сказку о принцессе Брамбилле; он стал дружески уверять Джачинту, что высоко ценит ее добрые чувства к нему; но до её гордости ему дела нет, что же касается ее дукатов, то он в них не нуждается, ибо сам думает вскорости обеими ногами скакнуть на свой трон. Он поведал ей, что самая знатная в мире, самая богатая принцесса уже избрала его своим рыцарем и он надеется к концу карнавала стать супругом сиятельнейшей дамы, навеки сказав «прости» той жалкой жизни, какую вел до сих пор. Джачинта, казалось, сильно обрадовалась счастью, ожидающему Джильо, и тут оба принялись весело болтать о прекрасном будущем, полном радости и богатства.

— Одного бы мне хотелось, — сказал под конец Джильо, — чтобы страны, которыми мы будем править, оказались рядом, и мы могли бы жить в добром соседстве. Но если я не ошибаюсь, владения моей обожаемой принцессы лежат где-то за Индией, как раз по левую руку от земли, соседствующей с Персией.

— Жаль, что и мне, — ответила Джачинта, — должно быть, придется уехать очень далеко; ведь земля моего царственного супруга лежит у самого Бергамо. Но я уверена, что все устроится, и мы будем и останемся добрыми соседями.

В конце концов Джачинта с Джильо согласились на том, что их будущие владения непременно надо перенести в окрестности Фраскати.

— Доброй ночи, прекрасная принцесса! — сказал Джильо.

— Спите спокойно, дорогой принц! — ответила Джачинта, и на этом они, когда настал вечер, мирно и дружески расстались.

Глава пятая

Как Джильо в период полной трезвости ума пришел к мудрому решению, сунул в карман фортунатов мешок и бросил гордый взгляд на смиреннейшего из портных. — Дворец Пистойя и его чудеса. — Человек в тюльпане читает лекции. — Царь Соломон — князь духов и принцесса Мистилис. — Как старый волшебник облачился в черный шлафрок, надел соболью шапку и с нечесаной бородой скверными стихами изрекал пророчества. — Злосчастная судьба желторотого птенца. — Как благосклонный читатель не узнает из этой главы, что произошло после танца Джильо с незнакомой красавицей.

Всякий, гласит одна книга, полная глубокой житейской мудрости, кто наделен хоть некоторой долей фантазии, непременно страдает помешательством. И оно то усиливается, то ослабевает, наподобие прилива и отлива. Первый приближается с наступающей ночью, когда волны, бушуя, все выше, все сильнее несутся к берегам, тогда как самая низкая точка отлива совпадает с утренним часом, когда человек после пробуждения сидит за чашкой кофе. Поэтому в книге дается разумный совет пользоваться утром, как моментом наибольшей трезвости рассудка для выполнения важнейших житейских дел. Только утром следует, например, жениться, читать ругательные рецензии, бить слуг и т. д.

В такой прекрасный час отлива, когда человеческий разум отличается особой ясностью, Джильо пришел в ужас от своего безрассудства, сам не понимая, как он до сих пор его не ощущил, хотя необходимость в этом давно назрела.

«Нет сомнения, — подумал Джильо, радостно сознавая, что в голове у него прояснилось, — старый Челионати полупомешанный и не только сам наслаждается своим безумием, но старается опутать им и других, вполне разумных людей. И так же несомненно, что прекраснейшую, богатейшую принцессу, божественную Брамбиллу завлекли во дворец Пистойя... О небо и земля! Может ли меня обмануть надежда, подтвержденная предчувствиями, мечтами и даже алыми устами прелестнейшей из масок, что именно на меня, счастливца, устремила она нежный свет своих небесных глаз? Неузнанная, под вуалью, скрытая за решеткой ложи, принцесса увидела меня в роли какого-нибудь принца и полюбила меня. Но можно ли ей приблизиться ко мне прямым путем? Не нуждается ли это прекрасное создание в посреднике, в наперснике, что связал бы нас единой нитью, которая в конце концов превратилась бы в сладостнейшие узы? Как бы там ни было, нет сомнения, что только Челионати может привести принцессу в мои объятия. Но, вместо того чтобы, как полагается, выбрать прямой путь, он бросает меня головой вниз в сплошное море безумия, обмана, всеми силами старается убедить меня, что только под самой уродливой личиной должен я искать на Корсо свою прекрасную принцессу, рассказывает небылицы об ассирийском принце, о волшебниках... Довольно с меня всех этих глупостей, довольно этого сумасбродного Челионати! Что мне мешает, одевшись понаряднее, проникнуть во дворец Пистойя и броситься к ногам светлейшей? О боже, почему я не сделал этого вчера, третьего дня?»

Торопливо пересмотрев свой гардероб, Джильо был неприятно поражен: берет с перьями ни на волос не отличался от оципанного петуха, трижды перекрашенный камзол отливал всеми цветами радуги, а плащ слишком явно выдавал искусство портного, который с помощью самых изощренных швов отважно пытался бороться со всеизнашающим временем, а пресловутые голубые шелковые штаны и розовые чулки выцвели, как осенние листья. Грустно ощупал Джильо кошелек, уверенный, что он почти пуст, но нашел его доверху полным.

— Божественная Брамбилла! — восторженно воскликнул он, — да, я помню о тебе, помню о своей милой мечте!

Можно себе представить, что с этим приятным кошельком в кармане, показавшимся ему чем-то вроде фортунатова мешка, Джильо тут же обегал все лавки старьевщиков и портных, чтобы раздобыть красивейший наряд, в какой когда-либо облачался на сцене принц. Но все, что ему ни показывали, было для него недостаточно блескотно и нарядно. В конце концов решив, что его может удовлетворить только костюм, сшитый мастерской рукой Бескапи, он немедленно отправился к нему. Маэстро Бескапи, услышав просьбу Джильо, весь расплылся в улыбке и воскликнул:

— О мой дорогой синьор Джильо, этим-то я могу вам услугить! — и повел жаждущего покупки клиента в другую комнату. Но как же тот был разочарован, когда не увидел там никакой одежды, кроме полного набора костюмов для комедии дель арте и сумасбродных масок. Джильо подумал, что маэстро Бескапи его не понял, и стал ему живо описывать тот изящный, богатый наряд, в какой хотел бы одеться.

— Ах боже мой! — вырвалось у опечаленного Бескапи. — Что ж это опять такое, мой дорогой синьор? Неужели у вас снова приступ...

— Угодно ли вам, маэстро портной, — нетерпеливо прервал его Джильо, потрясая вязанным кошельком с дукатами, — продать мне костюм, какой мне хочется? Если нет, то прекратим этот разговор...

— Ну-ну, только не сердитесь, синьор Джильо, — смиленно сказал Бескапи. — Ах, вы не знаете, какие хорошие чувства я к вам питаю, сколько добра желаю вам. Эх, было бы у вас немного, хоть крошечка разума.

— Да как вы смеете, господин портняжных дел мастер? — гневно вскрикнул Джильо.

— Ах, если я портняжных дел мастер, то с каким бы удовольствием я сшил вам платье в точности по вашей мерке и самое для вас подходящее! Синьор Джильо, вы стремитесь к гибели, и мне жаль, что я не вправе сообщить вам все, что мне рассказывал об ожидающей вас судьбе мудрый Челионати.

— А, мудрый Челионати! — повторил Джильо. — Милейший синьор шарлатан, который всячески преследует меня, любыми средствами готов лишить меня величайшего счастья, ибо ненавидит мой талант, меня самого, потому что он противник серьезного направления в театральном искусстве, отстаиваемого возвышенными натурами, и рад бы все осмеять, превратить в безмозглую шутку, в нелепый, дурацкий маскарад! О мой добрейший маэстро Бескапи, я знаю все: достойный аббат Кьяри открыл мне все его козни. Аббат превосходнейший человек, поэтичнейшая натура, какую редко встретишь, ибо для меня он написал своего «Белого мавра», и никому на свете, говорю вам, не сыграть белого мавра, как я.

— Да что вы говорите? — громко расхохотавшись, воскликнул маэстро Бескапи. — Неужели почтенный аббат, да отзовут его скорее небеса и приобщат там к синклиту избранных натур, — сумел своей слезной водицей, которую столь обильно проливает, отмыть добела мавра?

— Еще раз спрашиваю вас, маэстро Бескапи, — сказал Джильо, еле сдерживая гнев, — угодно вам продать мне за мои полновесные дукаты нужный мне костюм или нет?

— С удовольствием! — превесело ответил Бескапи. — С удовольствием, мой любезнейший синьор Джильо.

С этими словами он открыл комнатку, где висели самые роскошные и красивые наряды. Джильо бросился в глаза полный комплект платья, действительно очень богатого, но своей удивительной пестротой несколько фантастичного. Маэстро Бескапи сказал, что это очень дорогое платье и вряд ли будет Джильо по карману. Но когда тот, изъявляя настойчивое желание купить его, вытащил кошелек и попросил назначить любую цену, Бескапи заявил, что никак не может продать ему этот костюм, ибо он предназначен для одного иностранного принца, точнее сказать, для принца Корнельо Кьяппери.

— Да что вы говорите? — воскликнул Джильо, полный восторга и экстаза. — Значит, это платье сшито для меня. Вам повезло, Бескапи! Перед вами принц Корнельо Кьяппери, который обрел у вас свою внутреннюю сущность, свое «я»!

Едва Джильо произнес эти слова, как маэстро Бескапи сорвал с вешалки платье, позвал подмастерья и приказал быстро сложить все в корзину и нести за светлейшим принцем.

— Оставьте у себя ваши деньги, всемилостивейший принц! — воскликнул портной, когда Джильо хотел ему заплатить. — Вы, вероятно, спешите. Ваш покорнейший слуга уверен, что не останется в накладе... Надо думать, белый мавр возместит ему эту небольшую затрату. Да хранит вас бог, сиятельный князь!

Бросив гордый взгляд на портного, который то и дело сгибался в изящном поклоне, Джильо сунул в карман фортунатов мешок и удалился вместе с красивым нарядом принца.

Платье так прекрасно сидело на нем, что Джильо от великой радости дал подмастерью, помогавшему ему раздеться, новенький блестящий дукат. Но тот попросил его дать взамен два настоящих паоли, ибо он слышал, будто золото театральных принцев ничего не стоит, что это простые пуговицы или фишки. Джильо в ответ выбросил за дверь слишком умного подмастерья.

Перепробовав перед зеркалом самые красивые, изящные жесты, вспомнив самые невероятные монологи героев, страдавших от любви, и прониквшись полным убеждением в своей неотразимости, Джильо с наступлением сумерек смело отправился во дворец Пистойя.

Незапертая дверь сразу же поддалась, и Джильо вошел в обширную прихожую с колоннами, где стояла гробовая тишина. Он изумленно осмотрелся вокруг, и перед ним из самых темных глубин памяти возникли какие-то смутные образы прошлого. Джильо показалось, что он уже бывал здесь. Но все расплывалось в его сознании, все

старания отчетливо уловить хоть один образ остались бесплодными, и Джильо охватил такой страх, такая угнетенность, что у него пропала всякая охота продолжать свою авантюру.

Он собирался уже покинуть дворец, как вдруг чуть не упал от испуга: навстречу ему, словно из тумана, выплыл: его двойник. Но Джильо тут же сообразил, что принял за двойника собственное отражение в темном зеркале на стене. И в это мгновение ему почудилось, будто сотни голосков шепчут ему: «О синьор Джильо, как вы красивы, как дивно хороши собой!» Джильо, стоя перед зеркалом, напыжился, высоко закинул голову, подбоченился левой рукой и, подняв правую, патетически воскликнул:

— Мужайся, Джильо, мужайся! Тебя ждет верное счастье, спеши его поймать! — Тут Джильо принял шумную расхаживать по прихожей, прочищать горло, кашлять, но кругом господствовала все та же мертвая тишина, не слышно было ни одной живой души. Джильо попытался открыть одну, другую дверь, которые вели, должно быть; во внутренние покои: все они оказались заперты.

Ему только и оставалось, что подняться по широкой мраморной лестнице, которая, помпезно изгинаясь, шла по обеим сторонам парадных сеней.

Наверху, в коридоре, отделанном с такой же строгой роскошью, как и все кругом, Джильо почудились долетавшие откуда-то издалека звуки странного, незнакомого ему инструмента. Он осторожно, краудучись, продвигался по коридору, пока не увидел впереди себя ослепительный луч света, струившегося через замочную скважину какой-то двери. Теперь он ясно различил, что принял за звуки незнакомого инструмента человеческий голос, который и правда звучал так странно, будто кто-то попеременно то ударял в цимбалы, то дул в дудку низкого, глухого тона. Только Джильо подошел к двери, как она сама собой, тихо-тихо отворилась. Он переступил порог и, пораженный, замер на месте.

Он находился в громадной зале: стены ее были облицованы белым в пурпурных прожилках мрамором; с высокого купола спускался светильник, заливая всю залу словно расплавленным золотом. В глубине, под балдахином из золотой парчи, стояло на возвышении из пяти ступеней золоченое кресло, покрытое пестрым ковром. В кресле восседал старишок с длинной седой бородой, в серебристом таларе, тот самый, что занимался науками в сверкающем золотом тюльпане, когда принцесса Брамбилла шествовала во дворец Пистойя. Как и тогда, его почтенную главу украшала серебряная воронка, на носу сидели огромнейшие очки, и, как тогда, он читал, сейчас, правда вслух, большую книгу, лежавшую на спине коленопреклоненного мавра. По обе стороны кресла, подобно могучим телохранителям, стояли два страуса и по очереди переворачивали клювом страницу, когда старишок кончал ее.

Возле него полукружием сидело около сотни дам, прекрасных как феи и столь же роскошно одетых, ибо известно, что феи любят щеголять нарядами. Дамы усердно вязали филе. Посреди этого полукружия, перед старишком, на маленьком алтаре из порфира, в позе людей, погруженных в глубокий сон, лежали две крошечные, дивные куколки с королевской короной на головах.

Несколько оправившись от изумления, Джильо решил дать знать о своем присутствии. Но он едва успел подумать об этом, как ощущил крепкий удар в спину. К немалому своему ужасу, он только сейчас заметил, что стоит среди целой шеренги мавров, вооруженных длинными пиками и короткими саблями. Мавры пялились на него, сверкая глазищами и щеря белые, как слоновая кость, зубы. Джильо понял, что будет всего лучше набраться терпения.

То, что старик читал дамам, вышивающим филе, звучало примерно так:

«Огненный знак Водолея стоит над нами. Дельфин плывет по бурным волнам, извергая из ноздрей в мутные воды чистый хрусталь. Настало время поведать вам о свершившихся великих тайнах, о дивной загадке, разрешение коей спасет вас от роковой гибели... Маг Гермод стоял на вышке и наблюдал течение звезд. В это время четверо людей, закутанных в ризы цвета палых листвьев, вышли из леса и, приблизившись к подножью башни, стали сетовать и плакать:

— Внемли нам! Услышь нас, великий маг Гермод! Не останься глух к нашим мольбам, очнись от глубокого сна! Хватило бы у нас силы натянуть лук короля Офиоха, мы бы пустили тебе стрелу прямо в сердце, как сделал он, и тебе пришлось бы спуститься к нам, а не торчать наверху в бурю, как бесчувственная колода! Но, достойный старец, мы держим наготове несколько камней и, если ты не соизволишь проснуться, запустим их тебе в грудь, чтоб разбудить спящие в ней человеческие чувства; пробудись же, великий старец!

Маг глянул вниз, перевесился через перила и голосом, подобным глухому рокоту бушующего моря или воюю-

близкого урагана, промолвил:

— Эй, вы, люди, там внизу! Не будьте ослами! Я не сплю, и меня незачем будить стрелами и камнями. Я, пожалуй, уже догадываюсь, чего вам от меня надобно, милые люди! Подождите немного, сейчас я к вам спущусь. А пока можете нарвать земляники или поиграть в салки на мшистых камнях. Я скоро приду.

Когда маг Гермод сошел к ним и уселся на большом камне, покрытом мягким ковром густого ярко-зеленого мха, один из пришельцев, видимо старейший из всех, ибо седая борода спускалась у него до самого пояса, сказал так:

— Великий Гермод! Ты, вероятно, знаешь заранее все, о чем я собираюсь сказать тебе. Но чтобы ты знал, что и я об этом знаю, я должен говорить.

— Говори, о юноша! — ответил маг. — Я охотно выслушаю тебя, ибо речи твои обнаруживают проницательный ум, а то и глубокую мудрость, хотя ты только-только стоптал свои детские башмачки.

— Как вам известно, великий маг, — продолжал пришелец, — однажды в совете обсуждался вопрос о том, что каждый подданный обязан ежегодно пополнять главную государственную сокровищницу шуток известным количеством острот в пользу бедных на случай, если в стране начнется голод или жажда; и вдруг король Офиох сказал: «Лишь в ту минуту, как человек падает, во весь рост выпрямляется его подлинное «я». И вам известно, что едва король Офиох произнес эти слова, он и впрямь упал и больше не встал, ибо умер. Случилось, что и королева Лирис в то же мгновение смыжила глаза, чтобы никогда их не открывать. Венценосная чета не оставила после себя потомства, и государственный совет в вопросе престолонаследия попал в крайне затруднительное положение. Придворный астроном, человек большого ума, придумал наконец средство, как сохранить на долгие годы власть короля Офиоха. Он предложил поступить с ним так, как в свое время поступили с князем духов — царем Соломоном, коему они долго еще повиновались после его кончины. Для этого в государственный совет призвали главного придворного столяра, и тот смастерил из букового дерева изящную подставку. Ее подсунули под сиденье королю Офиоху, надлежащим образом набальзамировав его особыми травами, так что казалось, будто он по-прежнему восседает, гордый и величавый. С помощью потаенного шнурка, конец которого, как у колокольчика, висел в конференц-зале верховного совета, приводили в движение его руку, и он размахивал скрипетром туда и сюда. Никто не сомневался, что король Офиох жив и царствует. Но с Урдар-источником стало твориться нечто странное. Вода озера, образовавшегося из него, по-прежнему оставалась чистой и прозрачной. Но, вместо того чтобы ощущать особенную радость, многие теперь, глядясь в нее, чувствовали злобу и раздражение, ибо противно всякому человеческому достоинству, разуму и с трудом накопленной мудрости видеть всю природу, и особенно себя опрокинутым вниз головой. С каждым днем росло число таких людей, и они уверяли, будто испарения светлого озера действуют одурманивающе на ум и превращают в пустое шутовство серьезность, приличествующую человеку. От досады они бросали в озеро всякую дрянь, отчего оно утратило свою зеркальную ясность, все больше мутнело, пока не уподобилось грязному болоту. О мудрый маг, сие навлекло на страну многое несчастий, ибо достойнейшие люди теперь колотят себя по лицу, утверждая, будто это и есть ирония мудрых. Но самое большое несчастье произошло вчера. С добрым королем Офиохом случилось то же, что с князем духов. Злой червь-шашень незаметно подточил постамент, и на глазах у толпы, проникшей в тронную залу, его величество в разгаре славного царствования шлепнулся на пол так, что теперь больше невозможно стало скрывать его кончину. Я сам, о мудрый маг, как раз дергал за шнурок, приводя в движение его руку со скрипетом, и, оборвавшись, шнурок так стегнул меня по лицу, что я на всю жизнь сыт этой должностью. Ты, о мудрый Гермод, всегда пекся о благе страны Урдар-сада, скажи, что нам делать, чтобы достойный наследник взял в руки власть и Урдар-озеро стало опять прозрачным и ясным?

Маг глубоко задумался, потом сказал:

— Ждите девятью девятью ночей, после чего из Урдар-озера поднимется и расцветет королева вашей страны! А пока управляем государством как умеете!

И вот однажды над болотом, каким стало прежнее Урдар-озеро, зажглись пламенные лучи. То были духи огня; горящими глазами всматривались они в озеро, а из его глубин прорыли себе путь на поверхность духи земли. С его дна, теперь совсем сухого, поднялся дивный лотос, в чашечке которого лежало прелестное спящее дитя. То была принцесса Мистилис. Четыре ministra, принесшие весть о ней от мага Гермода, бережно вынули принцессу из дивной колыбели и наrekли правительницей страны. Эти же четыре ministra взяли и опеку над ней и, как только могли, лелеяли и пестовали прелестное дитя. Но сколь велика была их скорбь, когда принцесса, достигнув известного возраста, заговорила на языке, которого никто не понимал. Со всех концов страны были выписаны полиглоты, чтоб узнать, на каком языке говорит принцесса. Однако по воле злой судьбы полиглоты, чем они были учены, тем меньше понимали речь, принцессы, хотя она звучала явственно и разумно. Тем временем лотос

сомкнул свою чашечку; однако вокруг него забила крошечными ключами кристально чистая вода. Министры сильно обрадовались: они не сомневались, что болото вскоре опять превратится в прекрасную зеркальную гладь Урдар-озера. По поводу же языка принцессы эти мудрые министры рассудили между собой отправиться за советом к магу Гермоду, что, в сущности, им давно уже следовало сделать.

Ступив в жуткую темноту таинственного леса, сквозь дремучую чащу которого уже виднелась каменная громада башни, они наткнулись на старика. Он сидел на обломке скалы и внимательно читал большую книгу: министры признали в нем мага Гермода. Был прохладный вечер, потому он облачился в черный шлафрок и соболью шапку; это было ему к лицу, но придавало несколько необычный, даже зловещий вид. Министрам показалось, что борода у Гермода не совсем в порядке и напоминает растрепанный ветром куст. Когда министры смиренно изложили свою просьбу, Гермод поднялся и так сверкнул на них своими свирепыми глазами, что они чуть не попадали на колени. Затем маг разразился громовым хохотом, он гулко отдался по всему лесу, и звери, устрашившись, кинулись в кусты, а смертельно перепуганные птицы с пронзительным криком взвились в воздух и разлетелись куда! Министры никогда не видели мага в таком остервенении, и им стало не по себе, но они благоговейно молчали, ожидая, что великий маг станет делать дальше. А маг опять уселся на обломке скалы, раскрыл книгу и торжественно прочел:

Плитою черной зал украшен старый,
Где королевская чета когда-то
Уснула в ожидании набата,
Чей звук разрушит колдовские чары.

Под этим камнем спрятан потаенный
Предмет всеобщей радости, который,
Как самый ценный дар, одной лишь впору
Принцессе Мистилис, цветком рожденной.

Здесь птицу пеструю поймают в сети,
Что связаны руками нежной феи,
И утро прояснится, розовея,
И не спастись врагу при ярком свете.

Пусть каждый уши навострит, как может,
И смотрит зарче просветленным глазом.
Министру может пригодиться разум,
Но вам, ослам, и разум не поможет

Тут маг с такой силой захлопнул книгу, что по лесу словно гром прокатился, отчего все министры упали навзничь. Когда они опомнились, мага уже не было. Все четверо согласились на том, что ради блага отечества приходится многое выносить; иначе разве можно стерпеть, чтобы грубый мужлан — звездочет и волшебник, их — надежнейшую опору государства — сегодня дважды обозвал ослами. Впрочем, они сами поразились той мудрости, с какой проникли в загадку мага. Вернувшись в Урдар-сад, министры немедленно направились в залу, где тринацать раз тринацать месяцев покоились во сне король Офиох и королева Лирис, приподняли черный камень, вделанный в середине пола, и извлекли из глубин подземелья дивной красоты ящичек, выточенный из наилучшей слоновой кости. Министры вручили его принцессе Мистилис, та нажала пружинку, крышка отскочила, и

она вынула оттуда изящный рукодельный набор для вязания филе.

Едва он оказался у нее в руках, как она звонко и радостно засмеялась, потом совершенно отчетливо проговорила:

— Бабуся положила мне это сокровище в колыбель, а вы, мошенники, украли и не отдали б, не расквась вы себе носы в лесу! — С этими словами принцесса усердно принялась вязать филе. Министры в полном восторге приготовились уже дружно подскочить в воздух, когда принцесса вдруг застыла, съежилась и превратилась в изящнейшую фарфоровую куколку. Насколько велика была сперва радость министров, настолько тяжко было теперь их горе. Они так громко плакали и рыдали, что слышно было по всему дворцу. Внезапно один из них глубоко задумался, перестал плакать, отер слезы сначала одним кончиком талара, потом другим и сказал:

— Министры... Коллеги... Друзья... Пожалуй, маг был прав, обозвав нас... ну да ладно, кто бы мы ни были... Разве загадка нами в самом деле разрешена? Разве поймана пестрая птица? Ведь филе и есть та сетка, сплетенная нежными руками, в которую она должна попасться.

По приказу министров во дворец были тут же собраны красивейшие в стране дамы, истые феи по изяществу и очарованию, и, роскошно разодетые, засажены вязать филе. Но что проку? Пестрая птица не показывалась, принцесса Мистилис оставалась все той же фарфоровой куколкой; родники, бившие из Урдар-озера, с каждым днем все больше иссыкали, на что все подданные жестоко роптали. И вот, четыре ministra, близкие к отчаянию, сели у болота, бывшего когда-то светлым как зеркало Урдар-озером, и с громкими жалобами, в самых трогательных словах умоляли мага Гермода сжалиться над ними и несчастной страной. Из глуби озера послышался глухой стон; цветок лотоса раскрыл свою чашечку, из нее поднялся маг Гермод и сердито сказал:

— Несчастные! Ослепленные! Вы говорили в лесу не со мной, а со злобным демоном, с самим Тифоном, который вовлек вас в свою дьявольскую игру, раскрыв вам роковую тайну ящичка с филейным вязанием! Но самому себе в ущерб он сказал больше правды, чем хотел. Пусть нежные ручки дам вяжут филе, пусть будет поймана пестрая птица, однако услышьте настоящую загадку, решение которой снимет с принцессы Мистилис заклятие!

Дойдя до этих строк, старичок умолк, поднялся с места и обратился к куколкам, лежавшим среди полукружия дам на порфировом алтаре:

— Славная венценосная чета, дорогие король Офиох и королева Лирис! Благоволите наконец принять участие в нашем паломничестве, облачившись в скромное дорожное платье, которым я вас снабдил. Я, ваш друг Руффиамонте, исполню то, что обещал!

Руффиамонте повернулся к окружающим его дамам и сказал:

— Вам пора прекратить вязание и повторить таинственные слова великого приговора, которые изрек маг Гермод, когда стоял в чудесной чашечке лотоса.

И пока Руффиамонте отбивал тakt серебряной палочкой, сильно ударяя ею по открытой книге, дамы, поднявшись со своих мест и еще теснее окружив мага, хором прочли следующие стихи:

Где та страна безоблачной лазури,
На чьей земле благоухает счастье?
Где город пестрых толп, что, балагуря,
Спешат в веселии принять участие?
Где круглый, как яйцо, мирок фантазий,
Нас покоряющий своею властью?
Где власть волшебного разнообразия?
Кто этот «я», который в состоянье
Родить «не-я» в неистовом экстазе
И выискать блаженству оправданье?

Страна и город, мир и «я» — все это
Приобрело невиданную ясность,
И «я», отказывавшийся от света,

*Свою осознает к нему причастность.
И правда жизни обретает силу,
Отвергнув ложной мудрости опасность.
Все тайны мира настежь отворила
Волшебная иголка чародея.
Кто сгонит сладкий сон тяжелокрылый
С четы супружеской, тот всех мудрее.*

*Вновь расцветает Урдар знаменитый.
Источник чистый блещет, как зерцало,
И цепи демона теперь разбиты,
Из глубины блаженство вновь восстало,
Исчезли муки в волнах наслаждений,
И от восторга грудь затрепетала.
Но что за луч мерцает в отдаленье?
Кто это там народу объявился?
То королева вышла из забвенья.
И найден «я». И Гермод примирился.*

Тут страусы наперебой с маврами подняли крик, перемежавшийся пронзительным писком множества других диковинных птичьих голосов. Громче всех, однако, кричал Джильо; словно очнувшись от оцепенения, он обрело полное спокойствие: ему казалось сейчас, будто он присутствует на каком-то бурлескном спектакле:

— Тысяча чертей! Что это такое? Бросьте наконец беситься! Прекратите всю эту чертовщину! Будьте же разумны, скажите, где я могу найти светлейшую принцессу, прекрасную Брамбиллу? Я, Джильо Фава, знаменитейший в мире актер, которого принцесса Брамбилла любит и собирается удостоить высокой чести... Да слушайте же меня! Дамы, мавры, страусы, не давайте себя дурачить всеми этими глупостями. Я знаю все лучше, чем ваш старик, ибо я не кто иной, как белый мавр!..

Но как только дамы наконец увидели Фаву, они залились долгим, пронзительным смехом и набросились на него. Джильо сам не мог понять, почему его вдруг обуял ужасный страх, и он всеми силами старался от них увернуться. Это ни за что бы ему не удалось, не догадайся он широко раскинуть плащ и взлететь под самый купол. Тут дамы принялись гонять его из стороны в сторону, бросая в него большими платками, пока он, обессиленный, не свалился. Они накрыли его с головой филейной сеткой, страусы принесли большущую золоченую клетку и безжалостно заперли в нее Джильо. В ту же минуту светильник погас, и все как по волшебству исчезло.

Клетка стояла на большом открытом окне, и Джильо мог глядеть на улицу: толпы людей, устремившихся в театры, в остории, схлынули, и потому на улице не было ни души — бедный Джильо, втиснутый в свое узилище, пребывал в безнадежном одиночестве.

— Так вот оно, долгожданное счастье! — печально воскликнул Джильо. — Неужели меня обманет и нежная, дивная тайна, скрывшаяся во дворце Пистойя? Я видел здесь тех же мавров, дам, тюльпанного старишка, страусов, которые прошли тогда в узкие ворота дворца. Но сегодня среди них не было мулов и крошечных пажей в камзольчиках из пестрых перьев. Не было и принцессы Брамбиллы, предмета моей горячей страсти, моей пламенной любви. О Брамбилла! Брамбилла! в этом позорном заточении я должен прозябать и никогда не придется мне играть белого мавра! О! О! О!

— Кто там так жалобно скулит? — послышалось с улицы. Джильо мигом узнал голос старого шарлатана, и в его смятенной душе зажегся луч надежды.

— Челионати! — живо откликнулся он. — Дорогой синьор Челионати, вас ли я вижу в лунном свете? Я сижу здесь в клетке, в самом отчаянном положении. Меня заперли, точно птицу. О боже! Синьор Челионати! — вы отзывчивый человек и не покинете ближнего в беде; вам подвластны волшебные силы, помогите мне, вызволите из постыдного мучительного плена. О свобода, бесценная свобода, кто тебя больше ценит, чем несчастный, сидящий

в клетке, пусть даже золотой?

Челионати громко рассмеялся, потом сказал:

— Это, Джильо, вам в наказание за проклятую вашу глупость, за все ваши нелепые фантазии! Кто вам велел заявиться во дворец Пистоя в таком безвкусном маскараде? Как вы смели вторгнуться в общество, куда вас не звали?

— Как? — возмутился Джильо. — Прекраснейший наряд, единственный, в каком я счел достойным предстать перед принцессой Брамбиллой, вы называете безвкусным маскарадом?

— Да ведь именно этому красивому наряду вы и обязаны тем, что с вами так дурно обошлись.

— Но разве я птица? — с негодованием и гневом воскликнул Джильо.

— Во всяком случае, — продолжал Челионати, — дамы приняли вас за птицу, притом такую, какой они жаждут обладать, а именно за желторотого птенца!

— О боже! — совсем вышел из себя Джильо. — Я, Джильо Фава, знаменитый трагический актер, белый мавр — желторотый птенец?

— Ну, синьор Джильо, — отозвался Челионати, — наберитесь терпения, если можете, спите спокойно! Кто знает, что хорошенького принесет вам завтрашний день!

— Сжальтесь! — закричал Джильо. — Сжальтесь надо мной, синьор Челионати, освободите меня из проклятого заточения! Никогда в жизни не переступлю я больше порога этого проклятого дворца!

— По правде говоря, — откликнулся шарлатан, — вы совсем не заслуживаете сочувствия, ибо пренебрегли всеми добрыми советами и готовы были кинуться в объятия моему смертельному врагу, аббату Кьяри, который, да будет вам известно, своими бездарными стихами, полными лжи и фальши, и вверг вас в эту беду. Но, в сущности, вы не плохой малый, а я добрый, мягкотелый дурак, что не раз уже доказывал, и потому постараюсь спасти вас. За это, надеюсь, вы завтра купите у меня еще пару очков и слепок с ассирийского зуба.

— Куплю все, что вам угодно, только освободите меня! Я здесь почти задохся. — Так говорил Джильо, и шарлатан, поднявшись к нему по невидимой лестнице, открыл большую дверцу клетки, сквозь которую пытался прятиснуться злополучный желторотый птенец.

В эту минуту во дворце поднялся беспорядочный шум: какие-то противные голоса завизжали, запищали, захныкали.

— Дьяволы преисподней! — вскричал Челионати. — Ваше бегство замечено, скорее уходите.

Отчаяние придало Джильо силы, он наконец протиснулся наружу; недолго думая, выбросился из окна на улицу, вскочил на ноги, не получив ни малейшего повреждения, и как ошалелый пустился наутек.

— Да! — воскликнул он, все еще не помня себя от волнения, когда вбежал в свою комнатку и увидел дурацкий костюм, в котором боролся со своим «я». — Да, нелепое бесплотное чудовище, которое лежит там, это мое «я», а роскошное одеяние принца злой дух украл у какого-то желторотого птенца и силой колдовства навязал мне, чтобы прекраснейшие дамы в роковом заблуждении приняли меня самого за желторотого птенца. Я знаю, что говорю бессмыслицу, но так оно и должно быть, ибо, в сущности, я сошел с ума оттого, что мое «я» бестелесно... Го! Го! Смело вперед, смело вперед, мое дорогое, прекрасное «я»!

С этими словами Джильо сорвал с себя роскошное платье, влез в свой нелепейший маскарадный костюм и побежал на Корсо.

Вся радость небес охватила Джильо, когда прекрасная девушка с тамбурином в руках пригласила его танцевать.

Глава шестая

Как некто, танцуя, превратился в принца, почти в беспамятстве попал шарлатану в объятия, после чего заужином усомнился в кулинарных талантах своего повара. — *Liquor anodynus*

[14]

и много шума из ничего. — Рыцарский поединок двух друзей, охваченных любовью и скорбью, и его трагический исход. — Как вредно и неприлично нюхать табак. — Масонство молоденькой девушки и новоизобретенный летательный аппарат. — Как старая Беатриче вздела на нос очки и сняла их.

Она: Кружись живей, быстрей вертись, мой веселый, бешеный танец! Ах, с какой стремительной быстротой все проносится мимо! Без отдыха, без остановки! Множество разноцветных фигур взлетают ввысь и, подобно рассыпавшимся в воздухе искрам фейерверка, исчезают в темной ночи! Радость мчится в погоне за радостью, но не может ее догнать, и в этом опять-таки состоит радость. Что может быть скучней, чем оставаться прикованной к земле, отдавая себе отчет в каждой мысли, в каждом слове? Не хочу быть цветком, лучше обернусь золотым жучком, который так жужжит и вьется над головой, что не слышишь голоса собственного рассудка! Да и есть ли место рассудку, когда вихрь бешеного веселья увлекает тебя? То, отяжелев, разрывается он нити и падает в бездну, то как перышко взлетает в туманное небо! Невозможно в танце полностью владеть своим рассудком, и потому, пока длятся наши туры, наши па, лучше вовсе откажемся от него. И потому я ничего не стану тебе объяснять, моя нарядная проворная пара. Смотри, как я ношуся вокруг тебя, ускользая в то самое мгновение, как ты думаешь, что уже поймал меня и крепко держишь! Вот опять, опять!

Он: И все же... Нет, не удалось! Но это потому, что в танце непременно нужно соблюдать и сохранять равновесие. Каждый танцор должен держать в руках нечто, вроде шеста канатоходца, и потому я вытащу свой широкий деревянный меч и стану им размахивать. Так! Что ты скажешь об этом прыжке, о позе, при которой я всем своим телом опираюсь лишь на кончик левой ноги? Ты сочтешь это глупым легкомыслием? Но ведь это и есть тот самый рассудок, которому ты не придаешь значения, хотя без него ничего не сообразишь, не сумеешь даже соблюсти равновесие, а ведь оно тоже нужно. Но как же так? Овеяная пестрыми лентами, как и я, порхая на самом кончике левой ноги, высоко подняв над головой тамбурина, ты хочешь, чтобы я полностью отказался от рассудка, от равновесия? Бросаю тебе под ноги краешек плаща, чтобы ты, ослепленная, споткнулась и упала в мои объятия. Но нет, поймай я тебя, ты бы тут же исчезла, растаяла без следа. Кто же ты, загадочное существо, рожденное из воздуха и огня? Принадлежишь земле и, завлекая меня, выглядываешь из воды? Тебе от меня не уйти. Но вот... ты принулась вниз, и мне кажется, я крепко тебя держу, а ты уже взмыла ввысь. Или ты, правда, тот легкокрылый дух стихий, что зажигает жизнь во всем живом? Скорбь ли ты, горячая страсть, восторг или небесная радость бытия? Вновь и вновь те же па!.. те же туры!.. Однако, волшебница, вечно новым пребывает твой танец, и это самое чудесное в тебе...

Тамбурин: Когда ты, о танцор, слышишь мой стук и звон, ты, должно быть, думаешь, что я хочу одурманить тебя своей, глупой, пустой трескотней, либо считаешь меня неловким, неуклюжим, не умеющим уловить ни тона, ни ритма твоих мелодий; а между тем только я и даю тебе нужный тон и ритм. Поэтому внемли, внемли, внемли мне!

Меч: Ты думаешь, о плясунья, что я, деревянный, глухой и бездушный, лишен всякого тона и ритма и потому ничем тебе не могу служить. Но знай, — только из моих взмахов возникают тон и ритм твоего танца. Я меч и цитра: вспарывая воздух, я порождаю в нем звон и стук. И даю тебе тон и ритм, поэтому слушай, слушай меня!

Она: Все слаженней, все согласней становится наш танец! О, какие па, какие пируэты! Все смелей, все дерзновенней, однако они нам удаются, ибо мы все глубже постигаем суть нашего танца!

Он: Ах! тысячи сверкающих огненных кругов мелькают и носятся вокруг нас! Как весело, как радостно! Чудесный фейерверк, никогда тебе не погаснуть, ибо материя, из которой ты создан, вечна, как время... Но что это? Я горю... я падаю в огонь!

Тамбурин и меч: Крепче держитесь за нас... крепче держитесь за нас, танцоры!

Она и Он: Горе мне... Головокружение... Вихрь... Круговорот!.. Держите нас... Мы падаем!..

Вот что слово в слово означал удивительный танец, который Джильо Фава грациознейшим образом танцевал с красавицей плясуньей, — то была, конечно, не кто иная, как принцесса Брамбилла, — пока в опьянении ликующей радости не ощущил, что сейчас лишится чувств. Но этого не случилось. Наоборот, когда тамбурин и меч еще раз

напомнили, что они за них крепче держались, Джильо почудилось, будто он падает красавице в объятия. Однако и этого не случилось. Он, правда, очутился у кого-то в объятиях, но не у принцессы, а у старого Челионати.

— Не понимаю, дражайший принц, — несмотря на ваш странный наряд я вас сразу узнал, — не понимаю, как вы могли поддаться такому грубому обману, вы, обычно столь умный, прозорливый? Хорошо, что я случился тут рядом и принял вас в свои объятия, а то б эта непотребная девка, воспользовавшись вашим головокружением, увела вас за собой.

— Сердечно благодарю за добрые намерения, любезнейший синьор Челионати, но я совершенно не понимаю, о каком грубом обмане вы здесь толкуете; мне только жаль, что это фатальное головокружение помешало мне закончить танец с прекраснейшей принцессой, который дал мне столько блаженства!

— Ну что вы говорите? — возмутился Челионати. — Вы в самом деле верите, что танцевали с принцессой Брамбиллой? Ничего подобного! В том-то и состоит гнусный обман: принцесса вам подсунула вместо себя особу низкого сословия, чтобы тем невозбраннее предаться другой любви.

— Неужели я мог так обмануться?

— Вспомните, — сказал Челионати, — будь действительно принцесса Брамбilla вашей партнершей в танце, то в ту минуту, когда вы счастливо довели б его до конца, явился бы маг Гермод, чтобы ввести принца вместе со светлейшей нареченной в его царство.

— Это верно, — ответил Джильо, — но скажите мне, как все это случилось и с кем я, в сущности, танцевал?

— Да, да, вы все должны узнать, — согласился Челионати. — Но если вы не возражаете, я провожу вас во дворец, и там, ваша светлость, мы обо всем спокойно поговорим.

— Будьте добры, отведите меня, ибо, должен сознаться, этот танец с мнимой принцессой так меня утомил, что я точно во сне и, по совести сказать, уже не представляю, где здесь в Риме находится мой дворец.

— Пойдемте со мной, всемилостивейший принц! — сказал Челионати и, взяв Джильо под руку, увел его.

Их путь лежал прямо ко дворцу Пистойя. Уже стоя на мраморных ступенях портала, Джильо оглядел дворец сверху донизу и сказал Челионати:

— Если это в самом деле мой дворец, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, то на меня там напали какие-то странные личности. Наверху в дивных залах они устраивают ужасную кутерьму и так себя ведут, будто дворец принадлежит им, а не мне. Наглые женщины, вырядившись в роскошные платья с чужого плеча, хватают благородных людей... да хранят меня святые угодники, — кажется, меня самого, хозяина дома, они приняли за редкостную птицу и старались поймать в сеть, искусно связанные нежными руками фей, вызвав много беспорядка и тревоги! Мне показалось даже, будто меня заперли в мерзкую клетку, вот почему я не хотел бы опять входить туда. Если можно, милейший Челионати, перенесите мой дворец на сегодня в другое место, я буду вам за это весьма признателен.

— Ваш дворец, милостивейший государь, не может оказаться ни в каком другом месте, а только здесь; и было бы противно всякому приличию вам искать пристанища в чужом доме. Вам следует помнить одно, мой принц: все, что здесь происходит, отнюдь не явь, а лишь каприччио, выдуманное от начала до конца; помните об этом, и тогда чудные люди, бесчинствующие наверху, не доставят вам ни малейшего беспокойства. Войдем же смелей!

— Но окажите мне, — удержал Джильо шарлатана, который хотел уже открыть дверь. — Скажите, разве принцесса Брамбilla с волшебником Руффиамонте и многочисленной свитой из дам, страусов и мулов не остановились здесь?

— Конечно, — ответил Челионати. — Но поскольку дворец принадлежит вам в такой же мере, как и принцессе, вы беспрепятственно можете заходить сюда, правда пока что втихомолку. Однако вскоре вы почувствуете себя здесь совсем как дома.

С этими словами Челионати отворил дверь и пропустил Джильо вперед. В просторных сенях было темно и тихо, как в могиле. Но когда Челионати чуть слышно постучался в одну из дверей, оттуда вышел маленький, очень приятный Пульчинелла с зажженными свечами в руках.

— Если не ошибаюсь, — обратился Джильо к малышу, — я уже вмел честь видеть вас, любезнейший синьор, на

крыше экипажа принцессы Брамбильы?

— Так оно и есть, — ответил тот, — я состоял тогда на службе у принцессы, отчасти состою и теперь, но главным образом являюсь бессменным камердинером вашего высочества, достойнейший принц!

Пульчинелла, освещая дорогу, ввел их в роскошный покой и тут же скромно удалился, заметив, что, где и когда бы он принцу ни понадобился, пусть только нажмет кнопку, и он мигом явится; хотя здесь, в нижнем этаже, он единственная, одетая в ливрею шутка, но по расторопности и проворству заменяет целый штат слуг.

— Ах! — вскричал Джильо, оглядываясь в пышном, богато убранном покое. — Только теперь я узнаю, что нахожусь в своем дворце, в княжеской опочивальне. Мой импресарио велел ее расписать, но не заплатил художнику денег, и когда тот ему напомнил о них, дал бедняге затрещину; машинист же в отместку отхлестал импресарио факелом фурий! Да! Я опять в родных княжеских владениях! Но, милейший Челионати, вы хотели вывести меня из страшного заблуждения по поводу танца. Прошу вас, говорите. Однако давайте сядем.

Оба опустились в мягкие кресла, и Челионати начал:

— Знайте, принц, особа, которую вам подсунули вместо принцессы Брамбильы, не кто иная, как смазливая модистка по имени Джачинта Соарди.

— Возможно ли? — изумился Джильо. — Но кажется, у этой девицы есть возлюбленный, какой-то жалкий актеришко Джильо Фава?

— Конечно, — ответил Челионати. — Однако можете себе представить, что именно за этим жалким, нищим актером, за этим театральным принцем и бегает по всем закоулкам принцесса Брамбilla. Она старается подсунуть вам модистку, именно для того, чтобы вы, впав в безумную, нелепую ошибку, влюбились в нее и отвратили от помянутого театрального героя!

— Что за мысль! — возмутился Джильо. — Что за дерзновенная мысль! Поверьте мне, Челионати, это злые бесовские чары во все вносят путаницу, странно сплетая в единый клубок. Но я разрушу это наваждение: отважней рукой подниму я меч и уничтожу всякого, кто посмеет допустить мысль, будто моя принцесса любит его.

— Так сделайте это! — лукаво усмехаясь, откликнулся Челионати. — Сделайте это, любезнейший принц! Для меня самого очень важно скорее убрать с дороги этого дурака.

В эту минуту Джильо подумал о Пульчинелле, о готовности малыша служить ему. Он нажал потайную пружинку, и Пульчинелла мгновенно явился. Совмещая в одном лице множество разнообразных должностей, он потрудился за повара, официанта, кравчего и через несколько минут, накрыв стол, подал вкусный ужин.

Плотно наевшись, Джильо заявил, что кушанья и вина все получились на один вкус; чувствуется, что их готовил, приносил и подавал один человек. Челионати ответил, что, может быть, именно поэтому принцесса Брамбilla сейчас охотно отказалась бы от услуг Пульчинеллы. Он вечно торопится и так самонадеян, что все хочет сделать сам и из-за этого не раз ужессорился с Арлекином, который весьма нахально притязает на то же.

В подлиннике этого изумительного капричио, коему рассказчик в точности подражает, в этом месте есть пробел. Выражаясь музыкальным языком, тут не хватает перехода из одной тональности в другую, так что новый аккорд дается без надлежащей подготовки. Да, можно сказать, что капричио как бы обрывается на неразрешенном диссонансе. Иными словами, у принца — под ним, конечно, разумеется Джильо Фава, угрожавший смертью тому же Джильо Фаве, — внезапно поднялись сильнейшие боли в животе, которые он приписал стряпне Пульчинеллы. Но Челионати дал Джильо несколько капель болеутоляющего, и он заснул, после чего во дворце поднялся ужасный шум. Так и неизвестно, что это был за шум и как Челионати и принц, он же Джильо Фава, покинули дворец.

Дальше в рассказе повествуется примерно следующее:

«День клонился к концу, когда на Корсо появилась маска, привлекшая всеобщее внимание своей из ряда вон выходящей нелепостью. На ней был несуразной формы колпак с двумя длинными петушиными перьями и личина с большущим, как слоновый хобот, носом, оседланым непомерной величины очками; одета она была в камзол с крупными пуговицами, небесно-голубые шелковые панталоны с темно-красными бантом, розовые чулки и белые башмаки, тоже в темно-красных бантах, а на боку у маски болтался красивый острый меч.

Благосклонный читатель знаком с этой маской по первой главе, и посему знает, что за ней не мог скрываться

никто, кроме Джильо Фавы. Но едва эта маска разок-другой прошлась по Корсо, как бешеный капитан Панталоне, которого мы уже несколько раз видели в нашем каприччио, гневно сверкая глазами, подскочил к ней и заорал:

— Наконец ты мне попался, проклятый театральный герой! Презренный белый мавр! Теперь ты от меня не уйдешь! Обнажай свой меч, трус, и защищайся, или я всажу в тебя свою деревяшку!

И сумасбродный капитан Панталоне стал размахивать в воздухе широким деревянным мечом. Но Джильо отнюдь не струсили перед таким внезапным нападением, а, наоборот, спокойно и хладнокровно сказал:

— Какой еще там неотесанный мужлан вздумал биться со мной на поединке, не имея понятия о настоящих рыцарских обычаях? Послушайте, мой друг, если вы действительно узнали во мне белого мавра, то вам должно быть ведомо, что я герой и рыцарь не хуже всякого, и только подлинная галантность побудила меня расхаживать тут в небесно-голубых штанах, розовых чулках и белых башмаках. Ибо таков бальныи наряд по моде короля Артура. Однако на боку у меня сверкает добрый меч, и я по-рыцарски отражу ваши удары, когда вы по-рыцарски вызовете меня, если только вы не просто немецкий балаганный шут, переиначенный на итальянский лад, а действительно чего-то стоите!

— Простите, о белый мавр, — ответила маска, — что я хоть на минуту забылся и не воздал должное герою и рыцарю! Но клянусь княжеской кровью, которая течет в моих жилах, я докажу, что с не меньшей пользой, чем вы, читал превосходнейшие рыцарские романы!

И княжеского рода капитан Панталоне отступил на несколько шагов, встал в позицию, держа меч наготове, и с искренним доброжелательством сказал:

— Не угодно ли?

Джильо отвесил противнику изящнейший поклон, быстро выхватил меч из ножен, и бой начался. Вскоре все заметили, что оба — капитан Панталоне и Джильо — отлично знают свое рыцарское дело. Твердо упервшись левой ногой в землю, они, то, притопнув, выбрасывали вперед правую в смелой атаке, то отступали назад в защитную позицию. Сверкая, скрещивались клинки; быстро, как молния, следовал удар за ударом. После жаркой грозной схватки дуэлянтам пришлось отдохнуть. Взгляды их встретились, и вместе с яростным пылом сражения в них вспыхнула такая любовь, что они бросились друг другу в объятия и зарыдали.

После этого бой возобновился с удвоенной силой и искусством. Но в ту минуту, как Джильо хотел отразить хорошо рассчитанный удар противника, тот проколол мечом бант на его левой штанине, и бант, застонав, свалился.

— Стой! — крикнул капитан Панталоне. Рану исследовали и нашли ее незначительной. Нескольких булавок оказалось достаточно, чтобы прикрепить бант к прежнему месту.

— Я желаю, — заявил капитан Панталоне, — взять меч в левую руку, моя правая сильно устала от тяжелой деревяшки. Но ты можешь, как раньше, держать свое легкое оружие в правой руке.

— Боже упаси, — возразил Джильо, — нанести тебе такую обиду! Нет, я тоже возьму оружие в левую руку: это будет справедливо, и так мне легче будет тебя сразить.

— Пади ко мне на грудь, добрый, благородный товарищ! — воскликнул капитан Панталоне. Враги опять крепко обнялись, плача, рыдая, растроганные возвышенностью своего поведения, и снова злобно напали друг на друга.

— Стой! — закричал, в свою очередь, Джильо, заметив, что удар его пришелся по шляпе противника. Тот сначала и слышать не хотел ни о какой ране; но поле шляпы свесилось ему на нос, и он невольно должен был принять великодушную помощь противника. Рана оказалась легкой, и шляпа, когда Джильо привел ее в порядок, осталась все тем же добротным войлоком. С удивленной любовью взглянули враги друг на друга; каждый из них испытал, сколь отважен и великодушен другой. Они обнялись, поплакали, и бой закипел с новой силой. Джильо не успел отпариовать удар, меч противника вонзился ему в грудь, и он, бездыханный, навзничь рухнул на землю.

Невзирая на трагический исход поединка, толпа, когда уносили труп Джильо, грянула таким хохотом, что все Корсо дрогнуло. А капитан Панталоне хладнокровно сунул свой широкий деревянный меч в ножны и гордо зашагал вниз по Корсо.

— Да, — сказала старая Беатриче, — я покажу на дверь старому безобразному шарлатану, этому синьору Челионати, если он опять заявится сюда сбивать с толку мое милое дитя. Теперь и маэстро Бескапи заодно с

ним, потакая его глупствам. — В какой-то мере старая Беатриче была права. Ибо с той поры, как Челионати зачастил к прелестной Джачинте Соарди, девушку словно подменили. Будто одержимая каким-то неотвязным сном, она временами говорила такие странные, непонятные вещи, что старуха опасалась за ее рассудок. Основной мыслью Джачинты, вокруг которой все вертелось, как читатель мог уже догадаться из четвертой главы, было то, что богатый, блестящий принц Корнельо Кьяппери любит ее и готов предложить ей руку. Старая Беатриче, наоборот, утверждала, что зловредный Челионати, бог знает с какой целью, набивает ей голову подобным вздором, ибо если принц и в самом деле ее любит, то совершенно непонятно, почему он давно уже не посетил свою милую в ее квартирке: обычно принцы в этом деле промашки не дают. Затем, те несколько дукатов, которые Челионати им подсунул, вовсе не говорят о княжеской щедрости. Она уверена, что никакого принца Корнельо Кьяппери нет и в помине, а если бы такой и существовал, то не сам ли старик Челионати со своего помоста близ Сан-Карло возвестил, будто ассирийский принц Корнельо Кьяппери, дав вырвать себе коренной зуб, бесследно пропал, и его невеста, принцесса Брамбilla, теперь его разыскивает.

— Вот видите, — живо отозвалась Джачинта, и глаза ее блеснули радостью, — вот вам и ключ ко всей тайне, вот причина, почему добрый, благородный принц так тщательно скрывается. Пылая любовью ко мне, он боится притязаний принцессы Брамбills и в то же время не в силах покинуть Рим. Только в самой нелепой маске он рискует показаться на Корсо, и именно на Корсо он дал мне самые неопровергимые доказательства своей нежнейшей любви. Но скоро над нами — над дорогим принцем и мной — взойдет во всем блеске золотая звезда счастья. Вы помните актера, что строил мне прежде куры, некоего Джильо Фаву?

Старуха ответила, что для этого не требуется особой памяти, ведь бедняга Джильо, который ей все же милее, чем какой-то выдуманный принц, не далее как позавчера был у них и основательно приналег на состряпанный ею вкусный ужин.

— Верите ли, старая, что принцесса Брамбilla бегает за этим нищим обжорой? Так меня по крайней мере уверял Челионати. Но как принц боится еще открыто объявить себя моим женихом, так и принцесса все не решается отказаться от своей прежней любви и разделить трои с этим комедиантом Джильо Фавой. Но в ту минуту, как принцесса отдаст руку Джильо Фаве, я осчастливлю принца своей.

— Джачинта! — ахнула старуха. — Что за глупости, что за бредни!

— А насчет ваших слов, будто принц до сих пор не удостоил посещением скромную комнатку своей возлюбленной, то вы заблуждаетесь. Вы не поверите, к каким очаровательным уловкам прибегает принц, чтобы тайно свидеться со мной. Вам надо знать, что мой принц, помимо всех прочих совершенств, еще и великий волшебник. Что он однажды ночью явился ко мне, изящный, маленький и прелестный — я просто готова была его съесть, — я уже не говорю. Но и когда вы здесь, он вдруг вырастает посреди нашей комнатки, и только вы сами виноваты, что не видите ни принца, ни всех чудес, ему сопутствующих. Не видите, как наша тесная светелка преображается в просторную, великолепную залу с мраморными стенами, златоткаными коврами, обитыми камкой диванами, столами и стульями из эбенового дерева и слоновой кости. Но особенно мне нравится, когда стены совсем исчезают, и мы с милым рука в руке бродим по прекраснейшему на свете саду. Ах, старая, меня не удивляет, что ты не слышишь небесного благоухания, которым веет в этом раю, ибо у тебя есть прескверная привычка набивать нос табаком; ты даже в присутствии принца не стесняешься вытаскивать свою табакерку. Хотя бы ты снимала платок с ушей, чтоб услышать пение птиц в саду, которое покоряет душу и перед которым стихает всякое земное страдание, даже зубная боль. Не сочи неприличным, что я разрешаю принцу целовать мои плечи: видишь ли, от этого у меня мгновенно вырастают дивные, как у бабочки, яркие, многоцветные крылья и я высоко уношуясь в воздух. Ах, тогда только и начинается настоящая радость, когда мы с принцем парим по небесной лазури. Все, что есть прекрасного на земле и в небе, все богатства и сокровища, скрытые в глубочайших недрах вселенной, о каких только можно мечтать, возникают перед моим упоенным взором, и все это мое! А ты говоришь, старая, что принц скуп, что он, несмотря на свою любовь, оставляет меня в бедности. Но ты, может быть, думаешь, будто я богата только в присутствии моего милого? Это тоже неверно. Посмотри, стоило мне только заговорить о принце и его могуществе, как чудесно преобразилась наша комнатка. Взгляни на шелковые занавеси, ковры, зеркала и, прежде всего, на этот великолепный шкаф — внешний вид его соответствует богатому содержимому. Стоит тебе только его открыть, и в подол посыплются свертки золотых монет. А что ты скажешь об этих нарядных фрейлинах, камеристках, пажах? Он приставил их ко мне, пока не сможет окружить мой трон блестящим штатом придворных!

Тут Джачинта подошла к шкафу, что знаком благосклонному читателю еще по первой главе; в нем висели, правда, очень богатые, но престрашные, фантастические одеяния, которые Джачинта, по заказу Бескапи украсила богатой отделкой; сейчас она тихо с ними разговаривала.

Старуха, качая головой, следила за поведением Джачинты, затем сказала:

— Господи помилуй, Джачинта! Да ведь на вас напало тяжкое безумие; я позову вашего духовника, чтоб он изгнал дьявола, который в вас вселялся. Но, право, во всем виноват этот помешанный Челионати, это он вскружил вам голову принцем, а также дурак-портной, давший вам в работу эти немыслимые маскарадные костюмы. Но мне неохота тебя бранить. Опомнись, мое милое дитятко! Милая моя Джачинта, приди в себя, будь умницей, как прежде!

Джачинта молча уселась в кресло, свесила головку на руку и задумчиво уставилась в пол.

— И если наш добрый Джильо, — продолжала старуха, — бросит дурить... Но постой... Джильо! Ах, гляжу я на тебя, Джачинтина, и мне вспоминается, что он нам однажды читал по маленькой книжечке... Погоди... Погоди... Погоди, да это ж просто как о тебе писано... — и старуха бросилась к корзине, отыскала среди лент, кружев, шелковых лоскутков и других мелочей, нужных для отделки, маленькую, аккуратно переплетенную книжку, насадила на нос очки, присела перед Джачинтой на корточки и стала читать:

— «Было ль это на мшистом уединенном берегу лесного ручья или в душистой, оплетенной жасмином беседке? Нет!.. Я вспоминаю теперь, я увидел ее в маленькой, уютной комнатке, залитой яркими лучами вечернего солнца. Она сидела в низком креслице, опершись головкой на правую руку, и темные локоны, шаловливо разметавшись, выбивались меж ее белых пальчиков. Левая лежала на коленях, играя концами развязавшейся шелковой ленты, опоясывавшей ее стройный стан. Невольно, казалось, следовала этому движению руки и ножка, кончик которой выглядывал из-под пышной юбки и тихо постукивал по полу. Говорю вам, такой прелести, такого небесного очарования было исполнено все ее существо, что сердце у меня затрепетало от неизъяснимого восторга. Кольцо Гига хотелось бы мне иметь, чтобы стать невидимкой; я боялся, что, коснись ее один мой взгляд, она растает в воздухе, как мечта!.. Сладостная, блаженная улыбка играла на ее устах и лице; легкие вздохи вырывались сквозь рубиновые губки и поражали меня, как раскаленные стрелы любви. Я вздрогнул в испуге, мне показалось, что во внезапной муке страстной истомы я громко произнес ее имя. Но она меня не замечала, не видела меня! И я отважился взглянуть ей в глаза, которые, казалось, были неподвижно устремлены на меня, и, отраженный в этом дивном зеркале, передо мной впервые открылся тот волшебный сад, куда перенеслось ангельское создание. Блестящие воздушные замки открыли свои врата; из них хлынула веселая, ярко одетая толпа, с радостным ликованием несшая прекрасной свои самые чудные дары. И этими дарами были надежды, страстные желания, что, вырываясь из сокровеннейших глубин души, так волновали ее грудь. Все выше и сильней, подобно волнам лилейной белизны, вздымались кружева на ее ослепительной груди, и яркий румянец горел на ее ланитах. Ибо только теперь постигла она тайну музыки, выражавшей в небесных звуках горние откровения. Верьте мне, что я и сам, отражаясь в дивном зеркале ее очей, стоял теперь в волшебном саду».

— Вое это, — сказала старуха, захлопнув книжку и сняв с носа очки, — очень красиво и приятно сказано; но боже великий, как много слов понадобилось, чтобы только и сказать, что нет ничего милей, а для мужчины с душой и разумом ничего привлекательней, чем красивая девушка, которая сидит задумавшись и строят воздушные замки. И это, как я уже сказала, в точности подходит к тебе, моя Джачинта, а все, что ты мне наплела о принце и его чудесах, — мечта, опутавшая тебя.

— А если даже и так, — ответила Джачинта, вскочив с кресла и, как ребенок, весело хлопая в ладоши, — то не в этом ли и заключается мое сходство с тем прелестным образом, о котором вы мне сейчас прочли? И знайте, желая прочесть отрывок из книжки Джильо, вы невольно выбрали те слова, какие говорил мне принц.

Глава седьмая

О том, как одному молодому человеку в «Caffe greco» были приписаны ужасные вещи, как импресарио ощущал раскаяние, а картонная модель актера умерла от трагедий, аббата Кьяри. — Хронический дуализм и двойной принцип, который мыслил наперекор. — Как некто в силу болезни глаз видел все шиворот-навыворот, потерял свои владения и не пошел гулять. — Спор,ссора, разлука.

Вряд ли благосклонный читатель может пожаловаться, что в этой истории автор утомляет его большими расстояниями. Все место действия — Корсо, дворец Пистоя, «Caffe greco» — измеряется какой-нибудь сотней шагов и, не считая небольшого прыжка в сторону Урдар-сада, остается в том же тесном и легко обозримом кругу. Вот и сейчас, достаточно сделать несколько шагов, и любезнейший читатель снова очутится в «Caffe greco», где только четыре главы тому назад шарлатан Челионати рассказывал немецким буршам дивную историю о короле Офиохе и королеве Лирис.

Итак! В «Caffe greco» сидел в одиночестве красивый, изящно одетый молодой человек, явно погруженных! в столь глубокое раздумье, что двое мужчин, которые в это время заглянули в кофейню и подошли к нему, должны были трижды его окликнуть: «Синьор... Синьор... любезнейший синьор!» — пока он наконец, словно очнувшись от сна, не спросил с учтивым достоинством, что им угодно.

Аббат Кьяри — надо сказать, что двое неизвестных были аббат Кьяри, прославленный автор еще более прославленного «Белого мавра», и импресарио, променявший трагедии на фарс, — аббат Кьяри сразу начал:

— Что же это вас, мой милейший синьор Джильо, совсем не видать? Где вы скрываетесь, что вас приходится разыскивать по всему Риму? Вы видите перед собой раскаявшегося грешника, обращенного на путь истинный силой и мощью моего слова. Он жаждет загладить проявленную к вам несправедливость и щедро возместить ущерб, каковой он вам причинил.

— Да, — вмешался импресарио, — да, синьор Джильо, я полностью признаюсь в своем неразумии, в своей слепоте. Как это я не сумел оценить ваш гений и хоть на минуту усомнился, что в вас одном найду свою опору! Вернитесь в мой театр, где вас снопа ожидают восторги, бурные рукоплескания всего мира!

— Не знаю, господа, — ответил красивый молодой человек, удивленно глядя на аббата и импресарио. — Не знаю, что вам, в сущности, от меня угодно? Вы называете меня чужим именем, говорите о совершенно незнакомых мне вещах... ведете себя так, будто знаете меня, а между тем я не помню, чтобы видел вас хоть раз в жизни.

— Ты правильно делаешь, Джильо, — со слезами на глазах сказал импресарио, — что так презрительно обращаешься со мной и притворяешься, будто и в глаза меня не видывал: поделом мне, я был ослом, прогнав тебя с подмостков. Все же, Джильо, мой мальчик, не будь злопамятным! Дай руку!

— Подумайте, синьор Джильо, — прервал его аббат, — подумайте обо мне, о «Белом мавре» и о том, что нигде вам не уготованы такие лавры, такая слава, как в театре этого честнейшего человека. Ведь он послал к чертям Арлекина со всей его грязной шайкой и опять сподобился счастья ставить мои трагедии!

— Синьор Джильо, — снова заговорил импресарио, — назначьте себе сами любое жалованье, выберите по своему вкусу костюм для «Белого мавра», я не постою за несколькими лишними локтями поддельного галуна, за лишней пачкой блесток.

— Но уверяю вас, — воскликнул молодой человек, — все, что вы тут говорите, было и остается для меня неразрешимой загадкой.

— Ага! — яростно вскричал импресарио. — Ага, я понял вас, синьор Джильо Фава, я отлично вас понял. Теперь мне все ясно... Этот проклятый сатана... ну да ладно, не стану называть его имя, дабы не отравить ядом своих уст... Он поймал вас в сети и крепко держит в когтях. Вы подписали ангажемент!.. Вы подписали ангажемент! Ха-ха-ха, вы раскаетесь в этом, но будет слишком поздно, когда у этого негодяя, этого жалкого портняжки, которого на то толкает дурь, смешное самомнение, когда вы у него...

— Прошу вас, любезный синьор, — остановил молодой человек разгневанного импресарио, — прошу вас, не горячитесь, будьте сдержанны. Я понял, в чем все недоразумение. Не правда ли, вы принимаете меня за актера Джильо Фаву, который, как я слышал, некогда блистал в Риме, хотя по сути был полной бездарностью.

Аббат и импресарио изумленно взорвались на молодого человека, словно увидели перед собой призрак.

— Вероятно, господа, вас не было в Риме, — продолжал молодой человек, — и вы только что вернулись. Иначе я не могу объяснить ваше неведение, когда весь Рим только об этом и говорит. Мне весьма прискорбно первому сообщить вам, что тот самый актер Джильо Фава, которого вы ищете и столь высоко цените, вчера на Корсо убит в поединке. Я лично совершенно убежден в его смерти.

— О, прекрасно! — воззвал аббат. — Свыше всякой меры прекрасно и великолепно! Значит, знаменитого актера Джильо Фаву какой-то сумасбрдный, потешный малый вчера заколол мечом и тот свалился задрав кверху ноги? Право, любезный синьор, вы, должно быть, чужой в Риме и мало знакомы с нашими карнавальными шутками, а то бы вы знали, что у тех, кто кинулся поднимать мнимый труп, оказалась в руках только красивая картонная кукла! Недаром толпа разразилась оглушительным хохотом.

— Не знаю, — ответил молодой человек, — действительно ли трагический актер Джильо Фава был не живым человеком из плоти и крови, а только картонной куклой; достоверно знаю одно: при вскрытии все его внутренности оказались битком набиты ролями из трагедий некоего аббата Кьяри. И смертельный исход удара, нанесенного Джильо Фаве его противником, врачи приписали ужаснейшему несварению и полному разрушению пищеварительных органов вследствие чрезмерного потребления веществ, лишенных какой-либо питательности и соков.

Слова молодого человека были покрыты безудержным хохотом окружающих. Во время этого достопримечательного разговора «Caffe greco» постепенно наполнилось своими обычными посетителями, главным образом немецкими художниками, которые тесно окружили разговаривающих. Велика была злоба импресарио, но аббат просто впал в ярость.

— А! — закричал он. — А, Джильо Фава, так вот чего вы добивались? Это вам я обязан всем этим скандалом на Корсо! Но погодите... я отомщу вам... уничтожу...

И оскорбленный поэт разразился площадной руганью и вместе с импресарио обнаружил явное желание броситься на молодого человека; но немецкие художники схватили обоих за шиворот и с такой силой вышвырнули их за дверь, что они с быстротой молнии пронеслись мимо старого Челионати, который в эту минуту входил в кофейню и крикнул им вслед: «Счастливого пути!»

Как только молодой человек увидел Челионати, он быстро подошел к нему, взял его за руку и, отведя в дальний угол, сказал:

— Ну что бы вам, милейший синьор Челионати, прийти немного пораньше? Вы бы избавили меня от двух назойливых людей, которые упорно принимали меня за Джильо Фаву... А ведь я... ах, вы же знаете, что я вчера в своем злосчастном пароксизме убил его на Корсо. Каких только отвратительных вещей они мне не приписывали! Скажите, неужели я в самом деле так похож на этого Джильо Фаву, что меня можно принять за него?

— Несомненно, милостивейший государь, — вы сильно схожи с ним красивыми чертами лица, — ответил шарлатан учтиво, даже почтительно кланяясь, — вот почему наступила пора убрать с дороги вашего двойника, чтобы вы и сумели преловко выполнить. Что касается дурака аббата вместе с его импресарио, то всецело положитесь на меня, мой принц! Я охраню вас от нападок, которые могут помешать вашему полному выздоровлению. Нет ничего проще, как стравить директора театра с драматургом, чтобы, накинувшись друг на друга, они в лютой борьбе пожрали один другого, подобно тем двух львам, от коих на месте битвы остались лишь хвосты — страшные памятники совершившегося убийства. Не принимайте же так близко к сердцу ваше сходство с картонным трагиком. Вон те молодые люди, которые вас освободили от преследователей, я слышу, тоже принимают вас за актера Джильо Фаву.

— Ах, любезнейший синьор Челионати, — тихо произнес красивый молодой человек, — ради бога, не выдавайте, кто я такой. Вы же знаете, почему мне приходится скрываться до тех пор, пока я окончательно не выздоровею.

— Не беспокойтесь, мой принц, — ответил шарлатан. — Не выдавая вас, я расскажу о вашей милости ровно столько, сколько нужно, чтобы снискать уважение и дружбу этих молодых людей, так, чтобы им и в голову не пришло спросить о вашем имени и звании. Перво-наперво сделайте вид, будто нас совершенно не замечаете, смотрите в окно или читайте газету, тогда позже вы сможете вмешаться в наш разговор. Но, дабы вас не смущали мои слова, я воспользуюсь языком, который подходит только для тех вещей, что связаны с вами и вашей болезнью, которых вы пока что не понимаете.

Синьор Челионати усился, по своему обыкновению, среди молодых немцев, все еще с громким смехом вспоминавших, как они выпроводили аббата и импресарио, когда те набросились на красивого молодого человека. Некоторые спросили старика, правда ли, что там сидит и смотрит в окно знаменитый актер Джильо Фава, и когда Челионати заявил, что, конечно, нет и что это молодой иностранец высокого происхождения, то художник Франц Рейнгольд (благосклонный читатель уже видел и слышал его в третьей главе) признался, что совершенно не понимает, как можно усмотреть хоть малейшее сходство между незнакомцем и актером Джильо Фавой. Да, правда, у них одинаковая форма носа, лба, глаз, даже одинаковый рост, но освещаемое мысленно выражение лица, а оно главным образом и создает настоящее сходство (которое большинство портретистов, вернее сказать — копировщиков, не умеют уловить, почему в их портретах никогда нет подлинного сходства с оригиналом), именно это выражение у обоих настолько различно, что он, со своей стороны, никогда бы не принял незнакомца за Джильо Фаву. У Фавы, в сущности, ничего не говорящее лицо, тогда как в чертах незнакомца есть нечто своеобразное, покамест ему, Рейнгольду, самому непонятное.

Молодые люди попросили старого шарлатана рассказать им что-либо вроде удивительной истории о короле Офиохе и королеве Лирис, чрезвычайно им понравившейся, а еще лучше — ее вторую часть, которую он, вероятно, уже слышал от своего друга, волшебника Руффиамонте или Гермода во дворце Пистойя.

— Какая там еще вторая часть? — удивился шарлатан. — Разве я тогда остановился, откашлялся и, поклонившись, сказал: «Продолжение следует»? Кроме того, мой друг, волшебник Руффиамонте, и вправду прочел во дворце Пистойя продолжение этой истории. Ваша вина, не моя, что вы прозевали эту лекцию, на которой, как теперь модно, присутствовало много любознательных дам. Вздумав повторить ее, я навел бы отчаянную скучку на некую особу, которая неизменно нам сопутствует и тоже побывала на лекции Гермода, а потому все уже знает. Я имею в виду читателя каприччио, озаглавленного «Принцесса Брамбilla», где мы сами выведены как действующие лица. Итак, ни слова больше о короле Офиохе, королеве Лирис, о принцессе Мистилис и пестрой птице! О себе, о себе самом стану я рассказывать, если вам угодно меня слушать, легкомысленные вы люди!

— Почему легкомысленные? — спросил Рейнгольд.

— Да потому, — ответил Челионати, перейдя на немецкий язык, — что вы видите во мне человека, существующего лишь для того, чтобы рассказывать вам сказки, которые смешат вас потому, что вы замечаете в них только смешное, и это помогает вам скоротать праздное время. Но поверьте, когда автор меня сочинял, в мыслях у него было совсем другое, и знай он, как небрежно вы со мной обращаетесь, он подумал бы, что я ему совершенно не удался. Словом, никто из вас не оказывает мне того уважения и внимания, которых я заслуживаю своей высокой ученоностью. Вы считаете меня столь никчемным, что думаете, например, будто я, обладая лишь самыми ничтожными познаниями в медицинской науке, продаю домашние средства, выдавая их за тайные снадобья, и готов все болезни пользоваться одним и тем же лекарством. Однако наступило время немного просветить вас на свой счет. Из далекого далека, из страны столь отдаленной, что Петеру Шлемилю, с его семимильными сапогами, пришлось бы бежать целый год, чтобы добраться до нее, приехал сюда отличнейший молодой человек, желая воспользоваться моим лечебным искусством, ибо страдает болезнью, можно сказать, редчайшей и опаснейшей из всех существующих болезней. Излечение этого недуга требует магического средства, обладать которым может только тот, кто посвящен во все тайны волшебства. Точнее сказать, молодой человек страдает хроническим дуализмом.

— Что? — смеясь, вскричали все наперебой. — Как вы сказали, маэстро Челионати? Хроническим дуализмом? Слыхано ли это?

— Я вижу, — сказал Рейнгольд, — вы снова собираетесь угостить нас странным, фантастическим рассказом, а потом уйдете, так ничего нам и не объяснив.

— Эх, сынок Рейнгольд, — ответил шарлатан, — не тебе бы меня попрекать! Ведь именно тебе я честно во всем помогал, и поскольку ты, кажется, правильно понял историю короля Офиоха и, пожалуй, сам гляделся в светлые воды Урдар-источника, то... Однако, раньше чем я подробно расскажу вам об этой болезни, знайте, господа, что больной, которого я взялся вылечить, и есть тот самый молодой человек, что смотрит сейчас в окно и кого вы приняли за актера Джильо Фаву.

Все с любопытством оглянулись на незнакомца и согласились, что в его лице, хоть и весьма умном, есть нечто нерешительное, смятенное, и это говорит об опасной болезни, о скрытой форме безумия.

— Мне думается, синьор Челионати, — сказал Рейнгольд, — что под «хроническим дуализмом» вы имеете в виду странное помешательство, когда человеческое «я» раздваивается, отчего личность, как таковая, полностью

распадается.

— Неплохо, сынок, — сказал шарлатан, — неплохо, и все же ты промахнулся. Мне хочется дать вам полное представление о странной болезни моего пациента, но боюсь, мне не удастся сделать это до конца ясно, четко и понятно, ибо вы не врачи и мне придется воздержаться от научных выражений. Ну да ладно, что выйдет, то выйдет. В первую очередь должен заметить, что писатель, который нас выдумал и которому мы, если действительно хотим существовать, должны во всем подчиняться, ни в коей мере не ограничил определенным сроком наше бытие, наши действия. Поэтому, не впадая в анахронизм, мне крайне приятно предположить, что из сочинений известного остроумнейшего писателя вы имеете понятие о двойном кронпринце. Некая принцесса, пользуясь выражением другого, тоже очень остроумного немецкого писателя, была в положении, противоположном тому, в каком находилась ее страна, то есть благословенном — иными словами, была беременна. Народ с великим нетерпением ждал принца; но принцесса ровно вдвое оправдала это ожидание, родив двойню, двух прехорошеньких мальчиков, которых можно было счесть за одного, ибо они срослись заднююшками. Разумеется, придворный поэт уверял, будто природа не нашла достаточно места в одном человеческом теле, чтобы вместить все добродетели будущего престолонаследника; разумеется, министры успокаивали государя, несколько смущенного таким сугубым благословением, утверждая, что четырьмя руками легче удержать скипетр и меч, да и вообще вся соната управления, разыгрываемая в четыре руки, будет звучать более полно и мощно... Да! Невзирая на все это, возникло немало обстоятельств, наводивших на серьезные размышления. Начать с того, что стоило больших трудов изобрести удобную и вместе с тем изящную модель стульчика для известных надобностей, что вызвало естественную заботу о том, как разрешится в дальнейшем вопрос о наиболее удобной форме трона. Немало трудностей выпало и на долю комиссии, состоявшей из философов и портных, которая только после трехсот шестидесяти пяти заседаний установила самый удобный и вместе с тем самый красивый фасон двойных штанишек. Но что хуже всего, в обоих детях оказалось полное различие стремлений и мыслей, которое все больше обнаруживалось. Если один из принцев грустил, другой, наоборот, был весел, одному хотелось сидеть, а другому бегать — словом, желания их никогда не совпадали. К тому же, нельзя было с полной достоверностью утверждать, что у того и другого какой-нибудь определенный нрав: ибо в постоянной противоречивой смене настроений одна натура, казалось, переходила в другую, чего и следовало ожидать: вместе с телесным сращением, обнаружилось и духовное, что вызвало между ними величайший разлад. Их мысли всегда были противоположны, и потому каждый не знал толком, думает ли то в данную минуту он или его близнец. И если уж это не путаница, то, значит, никакой путаницы вообще не существует. Теперь вообразите, что внутри у человека в качестве *materia peccans*

[15]

сидит такой наперекор мыслящий двойной принц, и вам станет понятна болезнь, о какой я говорю и действие которой выражается главным образом в том, что человек сам в себе не разберется.

В эту минуту к компании незаметно подошел красивый молодой человек, и так как все молча смотрели на шарлатана, словно ожидая продолжения, то молодой человек, учтиво поклонившись, сказал:

— Не знаю, господа, придется ли вам по душе, если я, непрошеный, примкну к вашему обществу. Обычно, когда я здоров и весел, мне всюду рады; но маэстро Челионати, верно, рассказал вам о моей болезни столько диковинного, что вряд ли вы пожелаете терпеть мое общество.

Рейнгольд от лица остальных заверил его, что он для них желанный гость, и молодой человек занял место в их кругу.

Шарлатан удалился, еще раз напомнив молодому человеку о необходимости соблюдать предписанную диету.

Как всегда бывает, — стоило человеку уйти, и о нем тут же заговорили, расспрашивая молодого человека о его странном враче. Молодой человек уверял, что маэстро Челионати вынес из школы основательные познания, с большой пользой для себя слушал лекции в Галле и Иене, так что ему вполне можно доверять. И вообще он, по его мнению, очень хороший, порядочный человек; у него есть единственный, правда, большой недостаток: он слишком часто впадает в аллегорию, чем сильно вредит себе. Нет сомнения, что и о его болезни, которую он взялся лечить, синьор Челионати говорил самые диковинные вещи. Рейнгольд подтвердил, что, как выразился шарлатан, в молодом человеке сидит двойной принц.

— Вот видите, — мягко улыбаясь, сказал молодой человек, — вот видите, господа, это же чистейшая аллегория; между тем маэстро Челионати точно знает, чем я болен, знает, что я страдаю только болезнью глаз, которую нажил себе тем, что слишком рано начал носить очки. По-видимому, в моем хрусталике что-то сдвинулось, ибо, к

сожалению, я часто вижу все наоборот: самые серьезные вещи кажутся мне смешными, а смешные, напротив, необычайно серьезными. И это зачастую вызывает у меня такой ужасный страх и головокружение, что я едва могу устоять на ногах. Для моего полного выздоровления, уверяет синьор Челионати, нужнее всего частые, энергичные движения, но боже мой, как мне за них приняться?

— Однако, любезный синьор, — обратился к нему один из художников, — я вижу, вы крепко стоите на ногах, и я знаю...

В эту минуту вошел человек, уже знакомый благосклонному читателю, — знаменитый портной Бескапи. Он подошел к молодому человеку, низко согнулся в поклоне и произнес:

— Всемилостивейший принц!

— Всемилостивейший принц? — повторили все хором и с изумлением взглянули на молодого человека.

Но тот со спокойным видом сказал:

— Случай против моего желания выдал мою тайну. Да, господа, я действительно принц, притом глубоко несчастный, так как тщетно домогаюсь прекрасного, могучего царства, предназначенного мне в удел. Вот почему я перед этим сказал, что лишен возможности делать предписанные мне движения: у меня нет своей земли, а значит, нет и места для них. Именно потому, что я ограничен столь тесным пространством, множество фигур путаются, беспорядочно мелькают у меня в глазах, кувыркаются вниз головой, так что я не могу ничего с полной отчетливостью разглядеть, а это для меня пагубно, ибо по своему душевному складу я могу существовать, только когда мне все ясно. Однако с помощью своего врача, а также сего достойнейшего из министров, я надеюсь в счастливом союзе с прекраснейшей принцессой вновь обрести здоровье, величие и мощь, какие мне, собственно, и подобают. И я торжественно приглашаю вас, господа, посетить меня в моем государстве, в моей столице. Увидите, вы почувствуете себя там как дома и не захотите расстаться со мной, ибо только у меня сможете вести жизнь подлинных художников. Не думайте, господа, будто я себя возвеличиваю, будто я тщеславный хвастун! Дайте мне только стать вновь здоровым принцем, который понимает своих людей, хотя бы они становились даже вниз головой, и вы увидите, как я к вам благоволю. Я сдержу свое слово, это так же верно, как то, что я ассирийский принц Корнельо Кьяппери! О своем звании и отчизне я пока умолчу: то и другое вы узнаете в свое время. А теперь мне пора идти, чтобы посоветоваться с этим достойным министром о некоторых важных государственных делах, после чего наведаюсь к госпоже Шутке и, проходя двором, посмотрю, не взошло ли в парнике несколько удачных острот.

С этими словами молодой человек подхватил под руку портного, и оба ушли.

— Ну, люди, что вы на все это скажете? — спросил Рейнгольд. — Мне представляется, будто в пестрой маскарадной игре шутка, причудливая как сказка, раззадоривает, погоняет всевозможные образы, и они кружатся, мчатся, мелькают все быстрее и быстрее, так что невозможно уже ни распознать их, ни различить между собой. Но давайте наденем маски и отправимся на Корсо! Эта отчаянная голова, капитан Панталоне, победивший вчера на поединке, чью я, снова там появится и опять затеет что-нибудь несусветное.

Рейнгольд оказался прав. Капитан Панталоне, словно еще овеянный славой вчерашней победы, преважно расхаживал взад и вперед по Корсо; и хотя он ничего забавного не предпринимал, однако преувеличенная важность придавала ему чуть ли не еще более шутовской вид, чем обычно. Благосклонный читатель, вероятно, уже догадался и теперь знает, кто скрывается под этой маской. Конечно, не кто иной, как принц Корнельо Кьяппери, счастливый жених принцессы Брамбильы. А принцесса Брамбilla? Да, это, должно быть, та изящная дама с восковой маской на лице, в роскошном одеянии, которая величественно прохаживается по Корсо! Дама явно посягала на капитана Панталоне, искусно вертаясь вокруг него так, что казалось, ему от нее никак не ускользнуть. И все же он сумел увернуться и с прежней важностью опять зашагал по Корсо. Но только он наконец быстрой походкой двинулся отсюда, как дама схватила его за руку и мягким, нежным голосом проворковала:

— Это вы, мой принц! Я узнала вас по поступу и одеянию, достойному вашего сана; никогда еще на вас не было столь прекрасного наряда! О, почему вы избегаете меня? Неужели вы не узнаете во мне свою любовь, свою надежду?

— Право, прекрасная дама, я не знаю, кто вы. Или скорее, не смею угадать, ибо не раз становился жертвой постыдного обмана. Принцессы на моих глазах превращались в модисток, комедианты в картонных кукол, и потому я решил не терпеть больше никаких иллюзий, никакой фантастики и беспощадно уничтожать их, где только

повстречачю!

— Тогда начните с себя! — гневно вскрикнула дама. — Ибо вы сами, мой драгоценный синьор, не что иное, как иллюзия! Но нет, — продолжала она с прежней мягкостью и нежностью, — нет, мой милый Корнельо, ты же знаешь, какая принцесса любит тебя и приехала сюда из далеких стран, чтобы тебя найти, стать твоей. И разве ты не поклялся всегда быть моим рыцарем? Скажи, любимый!

Дама снова взяла Панталоне за руку, но тот протянул к ней свою остроконечную шляпу, вытащил широкий меч и сказал:

— Вот, взгляните! Я срываю со шлема знак моего рыцарства. Долой петушиные перья! Я отказываюсь от служения дамам, потому что они платят неблагодарностью и изменой!

— Что за слова! — воскликнула разгневанная дама. — Вы в своем уме?

— Ослепляйте, ослепляйте меня блеском алмаза, что сверкает у вас на лбу! Размахивайте перьями, выщипанными из хвоста пестрой птицы! Я устою против всяких чар, ибо знаю, стою на том, что старик в собольей шайке был прав, заявив, будто мой министр осел, а принцесса Брамбilla бегает за бездарным актером.

— Ого! — вспыхнула дама гневом пуще прежнего. — Ого! Вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? Тогда я вам отвечу: коли вам угодно оставаться печальным принцем, то актер, которого вы называете бездарным, во сто крат мне милей, чем вы. Правда, он сейчас разобран на части, но в моей власти приказать его сшить. Отправляйтесь к своей модистке, к этой ничтожной Джачинте Соарди — я слышала, вы и за ней бегаете, — и возведите ее на трон, который вам негде поставить, так как у вас нет ни клочка собственной земли! Ступайте с богом!

С этими словами дама быстро удалилась, меж тем как капитан Панталоне пронзительно кричал ей вслед:

— Гордячка! Изменница! Так-то ты награждаешь меня за преданную любовь! Но я сумею утешиться.

Глава восьмая

Как принц Корнельо Кьяппери не смог утешиться, поцеловал принцессе Брамбилье бархатную туфельку, после чего их обоих накрыли филейной сеткой. — Новые чудеса дворца Пистойя. — Как два волшебника проехали верхом на страусах по Урдар-озеру и уселись в чашечке лотоса. — Королева Мистилис. — Как снова появляются знакомые лица, и капричию под заглавием «Принцесса Брамбильла» приходит к счастливому концу.

Однако оказалось, что наш приятель, капитан Панталоне, или, вернее сказать, принц Корнельо Кьяппери (надо полагать, любезный читатель теперь знает, что под этой карикатурной маской скрывалась именно его высокородная княжеская особа), — да! оказалось, что он никак не смог утешиться. Ибо на другой день он громко, на все Корсо жаловался, что утратил свою прекраснейшую принцессу, и если опять ее не найдет, то от безумного отчаяния пронзит себя деревянным мечом. Но свои страдания он выражал такими невероятно забавными телодвижениями, что его окружила толпа масок и, глядя на него, хохотала до упаду.

— Где она? — громко вопил Панталоне жалобным голосом. — Куда исчезла моя прекрасная невеста, жизнь моя, моя отрада? Для того ли я дал маэстро Челионати вырвать лучший коренной зуб? Для того ли бегал по всем углам и закоулкам в поисках собственного «я»? Да! И для того ли я наконец нашел себя, чтобы, лишившись всего — любви, радости, владений, — влачить жалкое существование? Люди! Кто из вас знает, где скрывается моя принцесса, пусть вымолвит словечко, а не заставляет меня изливаться в напрасных жалобах! Или пусть побежит красавице и передаст ей, что вернейший из рыцарей, красивейший из женихов, неистовствует здесь, сгоря от безумной страсти, и что в пламени его любовного исступления может погибнуть весь Рим — вторая Троя, — если принцесса не придет и не потушит пожара влажными лунными лучами своих дивных очей!

Толпа снова ответила безудержным смехом, но его заглушил чей-то пронзительный смех:

— Безрассудный принц, неужели вы думаете, что принцесса Брамбильла сама выйдет к вам навстречу? Или забыли дворец Пистойя?

— Эй, вы! — откликнулся принц. — Замолчите, дерзкий желторотый птенец, не суйтесь не в свое дело. Радуйтесь тому, что удрали из клетки. Люди! Взгляните на меня, уж не я ли та пестрая птица, которую следует поймать в филейную сетку?

В толпе снова поднялся смех. Но в это мгновение капитан Панталоне не помня себя кинулся на колени: перед ним стояла она, его красавица, во всей прелести и очаровании, в том самом наряде, в каком он впервые увидал ее на Корсо; только вместо шляпки на лбу у нее сверкала диадема из дорогих самоцветов, над которой вздымались пестрые перья.

— Я твой! — вскричал принц в невыразимом восторге. — Я весь твой! Взгляни на перья у меня на шлеме! Это белый флаг, выкинутый в знак того, что я сдаюсь тебе, небесное создание, сдаюсь безоговорочно на волю победительницы!

— Так оно и должно было случиться, — ответила принцесса. — Ты вынужден мне покориться, мне, могучей властительнице, иначе ты бы не обрел отчизны и остался жалким, безродным пришлем. Теперь поклянись мне в вечной верности, поклянись этим символом моей неограниченной власти!

И принцесса протянула принцу изящную бархатную туфельку. Принц, торжественно поклявшись в вечной, неизменной любви, трижды облобызкал туфельку. Едва это произошло, как раздалось громкое, пронзительное: «Брам-бур-бил-бал... Аламонса-кик-буре-сон-тон!» Влюбленных окружили дамы в роскошных таларах, которые, как любезный читатель, вероятно, помнит, проследовали во дворец Пистойя. Позади них стояли двенадцать роскошно одетых мавров; только вместо длинных копий они держали длинные, переливающиеся ярким блеском павлиньи перья, размахивая ими в воздухе. Дамы набросили на княжескую чету филейную сетку, которая становилась все плотнее, пока не окутала их полной тьмой.

Но когда под громкие звуки рожков, цимбал и маленьких барабанов эта завеса упала, влюбленной четы под неё оказалось. Она пребывала уже во дворце Пистойя, в той самой зале, куда несколько дней назад так нескромно проник актер Джильо Фава.

Но насколько наряднее, насколько великолепнее была сейчас эта зала! Вместо единственного маленького светильника, озарявшего тогда залу, их с потолка свисало теперь не меньше сотни, так что казалось, она вся охвачена пламенем пожара. Мраморные колонны, поддерживающие высокий купол, были увиты роскошными

тирляндами. Изумительной красоты плафон, на котором резные листья сплетались с птицами разноцветного оперения, с прелестными детишками, с животными самых причудливых очертаний, казалось шевелился как живой, а из складок золотой парчи, драпировавшей тронный балдахин, выглядывали, светло улыбаясь, прелестные девичьи лица. Как и тогда, дамы, только еще богаче одетые, стояли полукругом, но уже не вязали филе, а то разбрасывали по зале роскошнейшие цветы из золотых ваз, то взмахивали кадильницами, струившимися драгоценные благовония. На троне, нежно обнявшись, стояли волшебник Руффиамонте с князем Бастианелло ди Пистоя. Надо ли говорить, что им оказался не кто иной, как базарный лекарь — шарлатан Челионати. За княжеской четой, то есть за принцем Корнельо Кьянери и принцессой Брамбиллой, стоял низенький человек в слепящем пестром таларе с изящным ящичком из слоновой кости в руках. Крышка на нем была откинута, и в нем виднелась миниатюрная, блестящая швейная игла, на которую человечек, весело улыбаясь, смотрел, не отрывая глаз.

Но вот волшебник Руффиамонте и князь Бастианелло ди Пистоя разомкнули объятия и только некоторое время еще пожимали друг другу руки. Затем князь звучным голосом обратился к страусам:

— Эй, вы, добрые люди! Несите сюда большую книгу, чтобы мой друг, славный Руффиамонте, вслух прочитал то, что осталось в ней недочитанным! — Страусы, махая крыльями, заковыляли прочь, вернулись с большущей книгой, положили ее на спину коленопреклоненному мавру и раскрыли. Великий маг, очень красивый и моложавый, невзирая на длинную, седую бороду, вышел вперед, откашлялся и прочел следующие стихи:

*Италия! — край солнца и лазури,
На чьей земле благоухает счастье.
Рим — город пестрых толп, что, балагуря,*

*Спешат в веселии принять участие.
Вон там, на круглой сцене — мир фантазий,
Нас покоряющий своею властью.*

*Здесь — чар господствует разнообразье.
Здесь гений жив, который в состоянье
Родить «не-я» в неистовом экстазе*

*И выискать блаженству оправданье.
Страна и город, мир и «я» — все это
Приобрело невиданную ясность.*

*Чета в себе открыла радость света.
Отвергнув ложной мудрости опасность.
Вновь правда жизни обретает силу*

*И гений осознал свою причастность
К тем тайнам мира, что теперь раскрыла
Волшебная иголка чародея.*

*И прекратился сон тяжелокрылый.
Тот, кто согнал его — тот всех мудрее.
Раздались звуки сладостных мелодий,*

*Утихли взрывы смеха и веселья.
Блестит лазурь на ярком небосводе,
Журчат ручьи, леса зашелестели.*

*Волшебный край несметных наслаждений!
Тебя тоской заполнить хотели,
Но ты не отдал ей своих владений.*

*Борись с разбушевавшейся стихией!
Ты одолеешь силу наводненья!
Вздымай лучи восторга огневые!*

Маг захлопнул книгу. Из серебряной воронки на его голове взвился огненный шар, все гуще и гуще заволакивая залу. Тут, под гармонический перезвон колоколов, под звуки арф и труб, все задвигалось, заколыхалось. Купол ушел ввысь, превратившись в светлый небесный свод. Мраморные колонны стали высокими пальмами, золотая парча с балдахина упала, раскинувшись ярким цветочным лугом, а огромное кристально чистое зеркало растеклось прозрачным, дивным озером. Огненный шар, поднявшийся из воронки на голове волшебника, рассеялся, в необозримом волшебном саду, полном чудеснейших деревьев, кустов и цветов, подул прохладный душистый ветерок. Все громче звучала музыка, поднялось шумное ликование, тысячи голосов запели:

*Пусть славится наш Урдар знаменитый!
Источник чистый блещет, как зерцало,
И цепи демона теперь разбиты...*

И вдруг все стихло — музыка, ликующие возгласы, пение. В глубоком молчании маг Руффиамонте и князь Бастианелло ди Пистоя взгромоздились на страусов и поплыли к цветку лотоса, светлым островом высившемуся среди озера. И те из собравшихся, кто обладал хорошим зрением, ясно разглядели, что волшебники вынули из яичника крошечную, но прехорошенькую фарфоровую куколку и положили ее в самую середину цветка.

Тут влюбленная чета — принц Корнельо Кьяппери и принцесса Брамбилла очнулись от сковывавшего их оцепенения и невольно взглянулись в зеркальную гладь озера, на берегу которого стояли. И только они всмотрелись в озеро, как сразу узнали себя, посмотрели друг на друга и засмеялись особенным смехом, который можно уподобить только смеху короля Офиоха и королевы Лирис: охваченные величайшим восторгом, они кинулись друг другу в объятия.

И в ту минуту, как они засмеялись, о великое чудо! из чашечки лотоса поднялась женщина божественной красоты. Она росла и росла, пока не достала головой до синего неба, а ногами — и это видели все — твердо встала на дно глубокого озера. В короне, сверкающей на ее голове, сидели волшебник с князем и глядели вниз на народ, который, опьянев от радости, шумно кричал: «Да здравствует наша великая королева Мистилис!» А из волшебного

сюда донеслись мощные аккорды музыки, и снова тысячи голосов запели:

Блаженство по земле рекою льется
И к небу устремляется, как птица.
Но с нами королева остается!

Пока ей сладкий сон небесный снится,
Она на землю медленно ступает.
И сущность бытия от небылицы
Себя познавший в смехе — отличает.

Было уже за полночь. Люди толпами устремились из театров. Тут старая Беатриче захлопнула окно, из которого выглянула, и сказала:

— Пора все приготовить. Скоро вернутся господа и, вероятно, прихватят с собой синьора Бескапи.

Как и в тот раз, когда Джильо пришлось тащить наверх полную корзину разных лакомств, старуха опять накупила всякой всячины для вкусного ужина. Но теперь ей не приходилось мучиться в тесной дыре, именуемой кухней, близ жалкой каморки в доме синьора Паскуале. К ее услугам было большое помещение с просторным очагом и отдельная светлая комната. А господам — тем было просто приволье в четырех (правда, не слишком обширных) комнатах, уставленных красивыми столами, стульями и другими довольно красивыми вещами.

Старуха выдвинула на середину комнаты стол, расстелила скатерть тончайшего полотна и, весело ухмыляясь, проговорила:

— Гм! До чего любезно со стороны синьора Бескапи, что он не только отвел нам такую славную квартирку, но и снабдил ее всем необходимым. Теперь, сдается мне, мы навеки простились с нуждой!

Дверь отворилась, в комнату вошел Джильо Фава со своей Джачинтой.

— Позволь обнять тебя, милая, прекрасная жена! И позволь от всей души сказать, что только с той поры, как мы вместе, душа моя полна настоящей, чудеснейшей радости. Всякий раз, как ты играешь на сцене твоих Смеральдин или другие роли, порожденные подлинной, искренней шуткой, а я рядом с тобой изображаю Труффальдино, Бригеллу или иную маску, полную веселой выдумки, во мне возникает целый мир самой задорной, острой иронии и воодушевляет мою игру. Но скажи, моя душа, какой особый дух снизошел на тебя сегодня? Никогда еще не рассыпала ты столько блесток искрящегося веселья, светлого, полного женственности юмора, никогда еще не была ты так мила в твоем задорном, прихотливом настроении!

— То же самое могла бы сказать и о тебе, мой любимый Джильо, — ответила Джачинта, нежно поцеловав супруга.

— И ты сегодня был прекраснее, чем когда-либо. Ты и сам, вероятно, не заметил, что нашу главную сцену мы с тобой провели под непрерывный искренний смех зрителей, импровизируя более получаса... Но разве ты забыл, какой сегодня день? Не подумал, в какой именно заветный час осенило нас обоих вдохновение? Ты запамятовал, что сегодня ровно год, как мы посмотрелись в светлые, дивные воды Урдар-озера и узнали себя?

— Что ты говоришь, Джачинта? — с радостным изумлением воскликнул Джильо. — Словно прекрасный сон осталась в моей памяти страна Урдар-сад, Урдар-озеро! Но нет, то был не сон! Мы в нем узнали себя и друг друга!.. О моя дорогая принцесса!

— О мой дорогой принц! — ответила Джачинта, и они снова обнялись, весело засмеялись и, перебивая друг друга, воскликнули:

— Тут лежит Персия, а там Индия, здесь вот находится Бергамо, здесь Фраскати... наши царства рядом... нет, нет, это одно царство, которым правим мы — великая, могучая, венценосная чета... оно-то и есть прекрасная, светлая страна Урдар-сад... Ах, как радостно!

И они стали шумно носиться по комнате, опять упали друг другу в объятия, целовались, смеялись.

— Ну чисто озорные ребятишки! — ворчала, на них глядя, старая Беатриче. — Целый год как женаты, а все милуются и воркуют, все носятся, прыгают и скачут... О матерь божья! да они сейчас посекдают со стола всю посуду! Ой, ой! Синьор Джильо, не попадите полой плаща в рагу! Синьора Джачинта, сжальтесь над фарфором, дайте ему еще пожить!

Но оба, не обращая внимания на старуху, продолжали развиваться. Наконец Джачинта, схватив Джильо за руку, заглянула ему в глаза и сказала:

— Но скажи, милый Джильо, ты узнал того низенького человечка, который стоял за нами в пестром таларе с шкатулкой из слоновой кости в руках?

— Еще бы! Еще бы, милая Джачинта! — ответил Джильо. — Ведь это же наш добрейший синьор Бескапи со своей творческой иглой, наш теперешний милейший импресарио! Он первый привел нас обоих на подмостки в том обличье, какое отвечает нашей внутренней сути. И кто бы подумал, что этот старый, сумасшедший шарлатан...

— Да, да, — перебила его Джачинта, — что этот старый Челионати в своем рваном плаще и дырявой шляпе...

— Окажется на деле старым мифическим князем Бастианелло ди Пистойя? — произнес величественный, богато одетый человек, который только что вошел в комнату.

— Ах! — вскрикнула Джачинта, и глаза ее радостно заблестели. — Ах, сударь, неужели вы сами явились? Как мы счастливы, я и мой Джильо, что вы посетили нас в нашем скромном жилище. Не откажитесь поужинать с нами чем бог послал, а затем, пожалуйста, объясните нам толком, что собой представляют королева Мистилис, страна Урдар-сад и маг Гермод или Руффиамонте, я во всем этом никак не разберусь.

— Милое мое, прелестное дитя, не нужно больше никаких объяснений, — сказал князь ди Пистойя. — Довольно того, что ты сумела разобраться в себе самой, да еще научила уму-разуму этого безрассудного малого, которому очень подходит быть твоим супругом. Видишь ли, я мог бы, памятя о своем шарлатанстве, забросать тебя всякими непонятными и в то же время пышными фразами: я мог бы сказать, что ты фантазия, в крыльях которой юмор нуждается прежде всего, дабы воспарить; но что без тела, без плоти юмора, ты, фантазия, осталась бы только крыльями и, оторвавшись от земли, носилась бы по прихоти ветра в воздухе. Но я этого не сделаю хотя бы потому, что боюсь впасть в ошибку, в чем принц Корнельо Кьяппери справедливо упрекал уже старого Челионати в «Caffe greco». Я скажу лишь, что на свете действительно существует злой демон в собольей шапке и черном шлафроке, который, выдавая себя за великого мага Гермода, способен околдовать не только добрых людей обычного пошиба, но и королев вроде Мистилис. Злым коварством со стороны этого демона было то, что снятие волшебных чар с принцессы он поставил в зависимость от чуда, заведомо считая его невозможным. В маленьком мирке, именуемом театром, следовало найти молодую пару, которая была бы не только воодушевлена подлинным юмором, подлинной фантазией, но могла бы и объективно, как в зеркале, разглядеть в себе это душевное настроение и воплотить его в такие образы, чтоб оно воздействовало на большой мир, в который заключен малый мир сцены. Театр, если хотите, в какой-то мере должен уподобиться Урдар-озеру, в котором люди, взглянувшись, могли бы себя узнать. Вы, милые дети, казалось мне, как нельзя лучше подошли бы для чуда этого преображения, и я тотчас написал своему другу, магу Гермоду. О том, что он тут же приехал, остановился в моем дворце, о том, сколько хлопот мы из-за вас претерпели, это вы знаете, и если бы маэстро Калло не пришел нам на помощь и не выманил вас, Джильо, из вашего камзола трагического героя...

— Да, да, — вступил в разговор синьор Бескапи, явившийся следом за князем, — да, милостивейший государь, из пестрого камзола героя... Говоря о нашей милой чете, не забудьте помянуть и меня, ведь я тоже содействовал этому великому делу!

— Конечно, — ответил князь, — вы сами по себе удивительный человек, да еще такой портной, который, создавая необычайные одеяния, горит желанием облачить в них необычайных людей; вот почему я воспользовался вашей помощью и в конце концов сделал вас импресарио того редкостного театра, где царят ирония и истый юмор.

— Я всегда казался себе таким человеком, — весело улыбаясь, проговорил синьор Бескапи, — которого прежде всего заботит, чтобы при раскрое сразу не испортить всего: как формы, так и стиля.

— Отлично сказано! — ответил князь ди Пистойя. — Отлично сказано, маэстро Бескапи!

Пока князь ди Пистойя, Джильо и Бескапи толковали о том о сем, Джачинта искусно украсила комнату и стол

цветами, за которыми спешно пришлось сбегать старой Беатриче, зажгла множество свечей и, когда в комнате стало светло и празднично, пригласила князя сесть в кресло, так роскошно уbraneное ею платками и ковром, что оно мало уступало трону.

— Некто, — сказал князь, опустившись в кресло, — кого всем нам следует опасаться, ибо он, конечно, хорошенъко нас распустит, а то и вовсе станет оспаривать наше существование, некто, пожалуй, скажет, будто я среди ночи, без всякой причины явился сюда лишь затем, чтобы поведать ему, какое отношение вы имеете к снятию чар с королевы Мистилис или принцессы Брамбильы, что, собственно, одно и то же. Этот некто не прав, ибо заявляю вам, что пришел сюда и буду приходить всегда в урочный час вашего прозрения, дабы вместе с вами насладиться мыслью о том, как богаты, как счастливы мы и все те, кому удалось узреть жизнь, самих себя, все сущее вокруг, в дивном, солнечно светлом зеркале Урдар-озера.

Здесь вдруг иссякает источник, из которого, благосклонный читатель, черпал автор этих страниц. Ходит лишь темное сказание, будто князю ди Пистоя и импресарио Бескапи сильно пришли по вкусу макароны и сиракузское у молодых супругов. Надо также думать, что в тот вечер, да и позже со счастливой актерской четой, поскольку она пришла в близкое соприкосновение с королевой Мистилис и великим волшебством, приключится еще немало чудесного.

Единственный, кто мог бы посвятить нас в ход дальнейших событий, — это маэстро Калло.

Комментарии

Капричио — музыкальная пьеса, не имеющая определенной формы и отличающаяся свободным построением.

Калло Жак (1592 — 1635) — французский живописец и гравер.

Гоцци Карло (1720 — 1806) — итальянский драматург, автор фантастических сказок для театра, один из любимых писателей Гофмана. Цитата из предисловия Гоцци приводится Гофманом неточно.

Пульчинелла — и дальше в тексте: Труффальдино, Бригелла, Панталоне, Тарталья, Арлекин, Коломбина — основные комические маски в итальянской импровизационной комедии масок (комедия дель арте), которая имела широкое распространение в Италии с конца XVI до середины XVIII в. Главные признаки ее: схематизированные типы-маски вместо индивидуальных характеров, актерская импровизация в пределах авторского сценария, актерская буффонада, то есть шутовской комизм.

Романо Джулио (1492 — 1546) — итальянский живописец, ученик Рафаэля.

Принц Таэр — главное действующее лицо пьесы Гоцци «Синее чудовище».

...королева Тароки по имени Тартальона... — действующее лицо пьесы Гоцци «Зеленая птичка».

Адальберт фон Шамиссо (1781 — 1838) — немецкий писатель, автор стихов и сатирической сказки «Чудесные приключения Петера Шлемиля» (1814); друг Гофмана. В качестве естествоиспытателя Шамиссо участвовал в 1815 — 1818 гг. в русской научной экспедиции вокруг света на судне «Рюрик».

Ринальдовой Армидой. — В поэме итальянского поэта Торквато Тассо (1544 — 1595) «Освобожденный Иерусалим» прекрасная волшебница язычница Армида обольщает и уводит из стана крестоносцев рыцаря Ринальдо.

Трамонтана — холодный северный ветер в Италии.

Бюшинг Антон Фридрих (1724 — 1793) — немецкий географ, автор «Нового описания Земли».

Эdda — памятник древней скандинавской поэзии, главным образом мифологического содержания; открывает книгу песня «Волюспа» («Предсказание пророчицы»), повествующая о происхождении и грядущей гибели мира.

Индийские Веды — древнеиндийские священные книги, содержащие гимны, заклинания, описания деяний богов и пр.

Санчо говорил: да прославит господь тех, кто изобрел сон... — См. Серванtes, «Дон Кихот», часть 2, глава 68.

...пресловутого Кьяри, который позже вступил в борьбу с Гоцци... — Пьетро Кьяри (1700 — или 1711 — 1785) — итальянский писатель, автор большого числа напыщенных романов, трагедий и комедий; литературный противник Гоцци.

...мартеллианских стихов — стихов итальянского драматурга Пьетро Жакопо Мартелло (1665 — 1727), который ввел четырнадцатисложный, сходный с александрийским стих; им зачастую пользовались и противники Гоцци — Пьетро Кьяри и Карло Гольдони.

Некий французский поэт... — Имеется в виду Буало.

Триссино Джанджорджо (1478 — 1550) — итальянский поэт и ученый; его пьеса «Софonisба» написана в соответствии с правилами поэтики Аристотеля.

«Каначе» — драма Спероне Сперони, итальянского писателя XVI в., последователя Триссино.

Фортунатов мешок — самонаполняющийся мешок; распространенный мотив немецких народных сказок.

...из сочинений известного остроумнейшего писателя... — Имеется в виду немецкий писатель-юморист Георг-Кристоф Лихтенберг (1742 — 1799).

...другого, тоже очень остроумного немецкого писателя... — Имеется в виду Жан-Поль Рихтер (1763 — 1825).

Примечания

«Il re de geni» («Царь духов, или Верная служанка»), пьеса Карло Гоцци.

Доктор (итал.).

Прощай (итал.).

Поди сюда, прекрасная Дорина, брось блажить (итал.).

Первый любовник (итал.).

Греческая кофейня (итал.).

Нюхательный табак (франц.).

Смерть тому, у кого в руке нет свечи! (итал.)

Осел недолго проскачет рысью (итал.).

О горестный день! Жестокий обман!
О злосчастный синьор, смерть твоя
Заставила меня плакать и быстро уйти! (итал.)

Отмщенный дух брата (итал.).

В ударе (франц.).

Все стихи в этой сказке переведены К. Богатыревым.

Болеутоляющие капли (лат.).

Болезнетворное начало (лат.).